Виктор Эмиль Франкл
О смысле жизни



Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67669143
«О смысле жизни»: Альпина нон-фикшн; Москва; 2022
ISBN 9785001397298

Аннотация

Название книги «О смысле жизни» точно и емко отражает суть и главную тему человеческих и научных поисков Виктора Франкла. В ней читатель найдет не издававшиеся прежде на русском языке три лекции, которые знаменитый психиатр и психотерапевт прочитал в 1946 году в Народном университете Вены. Это уникальное свидетельство бывшего узника концлагеря, прошедшего самые тяжелые испытания и сохранившего волю к жизни, – ценная часть наследия Виктора Франкла, труды которого во всем мире и в любые времена не теряют актуальности.

Виктор Франкл
О смысле жизни

Переводчик *Любовь Сумм*
Редактор *Ксения Чистопольская*
Издатель *П. Подкосов*
Руководитель проекта *И. Серёгина*
Ассистент редакции *М. Короченская*
Корректоры *Е. Чудинова, С. Чупахина*
Компьютерная верстка *А. Фоминов*
Художественное оформление и макет *Ю. Буга*

Über den Sinn des Lebens: Mit einem Vorwort von Joachim Bauer

* * *

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Виктор Франкл

Перевод с немецкого



Москва
2022

Погибшему отцу

Предисловие Иоахима Бауэра

Собранные в этом томе тексты – записи трех лекций, прочитанных Виктором Франклом в 1946 году, – обладают невероятной мощью и ошеломляющей актуальностью. В сжатой форме они вполне передают ту мысль великого врача и психотерапевта, которую он в последующие годы развил во множестве статей и книг, причем уже в этих трех текстах автор с непревзойденной ясностью освещает то, что можно назвать «участью человека» или «условием человеческого существования» – *Conditio humana*. Тем выше заслуга издательства Beltz, которое, выпустив этот том, обеспечило доступ к идеям Виктора Франкла современному читателю, в особенности молодежи.

Виктор Франкл был одним из титанов (хотя он по своей скромности и не согласился бы с подобным определением). В моих глазах он стоит рядом с Гиппократом, основателем врачебного искусства Античной Греции, и эльзасским врачом Альбертом Швейцером, который в 1954 году был награжден Нобелевской премией мира. Как и Швейцер, Франкл вышел за рамки собственно медицины и обратился к сфере антропологии, к фундаментальным вопросам человеческого бытия. Далее я намерен выделить и подробнее разобрать три аспекта публикуемых текстов, которые особенно меня затронули.

«Самость» как суть человека

На тот момент, когда Виктор Франкл читал собранные в этом томе лекции, ему исполнился 41 год, самый расцвет сил. Но за спиной у него остался ужаснейший опыт, с каким доводилось сталкиваться человеку: Франкл принадлежит к числу многих миллионов жертв омерзительных преступлений нацизма – и к числу немногих, увы, очень немногих, кому удалось выжить в концлагере (и даже в нескольких концлагерях). Из этого опыта он вынес убеждение, которое следует признать его личным открытием: *что* именно составляет суть человека, даже если лишить его всего остального. По словам Франкла, произошла встреча с самим собой, со своей самостью. Особенность нынешнего времени заключается в том, что многим людям лихорадочный темп жизни либо не дает встретиться с самими собой, либо они даже активно избегают такой встречи. Почему они так поступают? Потому что эта встреча чревата неприятными ощущениями или вовсе невыносима.

Участь заключенного концлагеря – ни с чем не сопоставимое испытание, однако Виктор Франкл дает нам понять, что сам он не склонен преувеличивать исключительность такого опыта: и в так называемой нормальной жизни возникают ситуации, когда человека, словно узника, лишают многого или даже всего, что до того момента позволяло ему уклоняться от встречи с самим собой. Подобные ситуации знакомы каждому. Например, только в Германии ежегодно у 480 000 пациентов диагностируют рак. Всевозможные удары судьбы, утраты, несчастья и болезни внезапно вторгаются в жизнь и существенно стесняют человека, порой крайне ограничивая его возможности. И что же тогда?

Тексты Виктора Франкла помогают нам не откладывать встречу со своим «Я» до той поры, когда под натиском судьбы «расплавится» все несущественное, когда «деньги, власть,

слава» окажутся под сомнением или будут утрачены (в кавычках приведены слова Франкла). Наше «Я» достойно того, чтобы обращаться к нему не только в том случае, когда жизнь уже не оставляет нам другого выбора. Недавно я посвятил книгу этой сути человека[1]. Итак, ключевая задача каждой жизни состоит, согласно Франклу, в том, чтобы на достаточно ранних этапах жизни уже начать «внутреннее обустройство». Он призывал развивать «внутреннее умение», которое поможет оберечь «свое "Я", свою суть», когда те барьеры, которыми мы окружаем себя в повседневной жизни, в частности материальные блага, внезапно рухнут.

Если человек не имеет контакта с самим собой и судьба вдруг сталкивает его с вопросом «что же придает его жизни подлинность, ценность и смысл?», в этот час испытания можно впасть в апатию. Франкл убедился: если «махнуть на себя рукой в духовной сфере… последует и телесный распад». Вот рассуждения врача, видящего человека в его цельности. Здесь Франкл предвосхищает основы современной психосоматики, в том числе и выводы современной психоонкологии: когда у человека исчерпываются внутренние силы, ослабевают также иммунная система и способность противостоять различным заболеваниям, в том числе злокачественным опухолям[2].

Источники смысла жизни

С предельной ясностью Виктор Франкл указывает нам источники, откуда возможно черпать смысл жизни. Ныне все больше людей по всему миру тревожит и побуждает ко все более настойчивым духовным поискам понимание ключевого факта: материальное благополучие само по себе не порождает смысла. «Удовольствие само по себе, – рассуждает Франкл, – никоим образом не может придать смысл бытию… Счастье не может, не должно и не смеет быть целью, оно лишь последствие». Отсюда Франкл переходит к решительному выводу, который послужит семенем развиваемой им экзистенциально-философской концепции: «Итак, не следует задавать вопрос: "Чего я могу ждать от жизни?", а следует спрашивать: "Чего жизнь ждет от меня?"». Иными словами, жизнь задает нам вопросы и мы должны отвечать. И лишь в попытках ответить на эти вопросы можно обрести смысл.

Среди инструментов, которые имеются в нашем распоряжении и с помощью которых мы могли бы ответить на задаваемые жизнью вопросы, Франкл называет деятельные поступки, обращенность к другому человеку и переживание прекрасного (включая красоту природы). Если отнята возможность активной деятельности, остается возможность переживания, в том числе осознания, что ты любим. Человеку доступно «по ту сторону деятельности, в пассивном восприятии мира в себе… достичь наполненности жизни смыслом».

Размышляя о потенциальных источниках смысла, Виктор Франкл увлекает своих читателей в глубочайшие пучины: даже навалившееся на человека невыносимое страдание может превратиться в источник смысла. Смыслосозидающим актом станет внутренняя позиция человека по отношению к своему страданию, то, как он выберет и займет эту позицию. «Тот смысл, который прорастает из ситуации болезни и умирания, не могут пошатнуть никакие внешние неудачи, никакие мирские поражения»: Франкл пишет про «внутренний успех». Смысл нашей жизни не в последнюю очередь определяется тем, «как мы противостоим нашей внешней судьбе».

Здесь проявляются крайне важные феномены, с которыми и ныне мы имеем дело, когда

---

[1] Joachim Bauer: *Wie wir werden, wer wir sind. Die Entstehung desmenschlichen Selbst durch Resonanz*. Blessing, München 2019.

[2] Joachim Bauer: *Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens*. München, Heyne 2018. См. также: Elmar Reuter, Gudrun Haarhoff, Yosh Malzon-Jessen*: Über Lebensgeschichten nachschwerer Krebserkrankung*. Klett-Cotta, Stuttgart, [2020].

исследуем природу травмы. Болезнь и перенесенные травмы могут, при условии что у пострадавшего имеется достаточная социальная или терапевтическая поддержка, привести не к осложнениям, а к тому, что теперь именуется «посттравматическим ростом» (*Posttraumatic Growth*). Душа человека способна, «по крайней мере в определенной степени и в определенных пределах», укрепиться именно благодаря тому, что она познала несчастье. «От человека, и только от него одного, – продолжает Франкл, – зависит, принесет его страдание смысл или нет».

Современная медицина: между объективностью и человечностью

К самым значимым темам собранных в этой книге лекций лично я отношу высказывания автора об отношениях между врачом и пациентом. Находясь в состоянии душевного кризиса, который обычно бывает вызван тяжелым заболеванием, пациент, как правило, не может самостоятельно отыскать путь к восстановлению душевных сил. Чтобы выяснить скрытый смысл заболевания и вновь обрести утраченные душевные силы, пациенту и нужен хороший врач.

Виктор Франкл, который уже практиковал как специалист-невролог к тому времени, когда нацисты арестовали его и заключили в концлагерь, не обрушивается с огульной критикой на академическую медицину, скорее, он указывает на присущую современной медицине опасность, связанную с тем, что пациента рассматривают как «случай» или как «диагностический материал». Ошибется тот, кто сочтет, будто эти приводимые Франклом формулировки относятся к иному, далекому от нас времени. Я сам слышал коллег, называющих так пациентов и даже сотрудников («человеческие ресурсы»). Эти выражения свидетельствуют, как говорит Франкл, о том, «как глубоко и широко проникает тенденция врачей дистанцироваться от человека и объективировать его». Словно послание, адресованное нашей современной медицине, звучит мысль Франкла: «Хороший врач… всегда движется от объективности к человечности». Интересно, как Виктор Франкл оценил бы взгляды тех наших современников, кто полагает, что общество в целом имеет право требовать от человека неких жертв во имя медицины, в частности к возводимому в норму согласию жертвовать после смерти свои органы. Предлагаем читателям самостоятельно поискать ответ на этот вопрос после чтения лекций Франкла.

Для меня к числу наиболее вдохновляющих высказываний относятся рассуждения Франкла о том, что врач должен послужить каждому пациенту зеркалом и в глубочайшем смысле слова «разглядеть» его. Он видит «человечность врача, которая прежде всего открывает и тем самым пробуждает человеческое в пациенте». Какая мысль! Человек нуждается в том, чтобы его увидели и предъявили ему его отражение, в особенности в этом нуждается человек, настигнутый ударом судьбы или недугом, причем этот отклик ему требуется не только со стороны врача, но и вообще от людей. Чтобы найти в страдании смысл, чтобы предпринять попытку в тяжелой ситуации сформировать адекватную и достойную позицию, человеку нужен Другой. Каждый узник концлагеря «знал… что где-то, каким-то образом, кто-то его видит». Франкл неоднократно подчеркивает «существование Другого, бытие Другого», без которого невозможно сохранять свое «Я» и осуществлять жизненные задачи. Уже здесь проявляется во всей полноте актуальность его текста. Понимание, что для обретения, развития и сохранения собственной индивидуальности необходим межчеловеческий резонанс, принадлежит к наисовременнейшим концепциям[3].

Я желаю этой книге обрести многих заинтересованных читателей и совершенно уверен в том, что чтение трудов Виктора Франкла станет для каждого огромным личным приобретением.

---

[3] См.: Joachim Bauer: *Wie wir werden, wer wir sind. Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz*. Blessing, München 2019.

Берлин, лето 2019
Профессор, доктор медицинских наук Иоахим Бауэр[4]

Примечание редактора

Собранные в этой книге лекции Виктор Франкл прочел в марте – апреле 1946 года в Народном университете венского пролетарского района Оттакринг. В том же году они вышли в виде книги под названием «…И все-таки сказать жизни "Да!". Три лекции». Для нынешнего издания выбрано другое заглавие, поскольку прежнее, цитату из знаменитого «Гимна Бухенвальда», автор затем использовал вновь, когда переиздавал свою книгу «Психолог в концлагере» вместе с драмой «Синхронизация в Бухенвальде».

Для нового издания тексты были подготовлены с учетом требований немецкого законодательства. Были бережно заменены отдельные выражения, которые во времена, когда Франкл читал эти лекции, составляли естественную и понятную часть общеупотребительного или медицинского словаря, а ныне сделались устаревшими и неприемлемыми, в том числе «сумасшедший дом», «негр», «душевнобольной», «идиот», «истребление», «умственно отсталые дети».

О смысле и ценности жизни. Лекция первая

Разговор о смысле и ценности жизни должен быть сегодня насущнее, чем когда-либо, вопрос лишь в том, «возможен» ли он и если да, то каким образом. В определенном отношении вести такой разговор теперь легче, поскольку о многом можно снова говорить открыто – обо всем том, что связано с проблемой осмысленности человеческого существования и его ценности, а также с проблемой человеческого достоинства. Но в другом отношении современность вновь затрудняет нам разговор о «смысле», «ценности» и «достоинстве». Ведь мы вынуждены задать себе вопрос: допустимо ли ныне вот так, не запнувшись, произносить эти слова? Не поставлен ли под сомнение самый смысл этих слов? Разве в последние годы негативная пропаганда не уничтожала все то, что значат эти слова – что они прежде значили?

Пропаганда последних лет была в упор направлена против потенциального смысла бытия, против его подвергшейся сомнению ценности. В эти годы усиленно демонстрировалась ничтожность человеческой жизни.

Еще Кант как представитель европейской научной мысли разрешил вопрос о подлинном достоинстве человека. Этот философ во второй формулировке категорического императива утверждал: каждая вещь имеет свою ценность, а человек – достоинство, и потому он никогда не может служить средством для какой-то цели. Но уже в *экономическом строе* последних десятилетий *трудящиеся люди* по большей части превращались в простое средство, низводились до орудия хозяйственной деятельности. Работа перестала быть средством для достижения определенной цели, для обеспечения жизни – скорее уж человек и его жизнь, его жизненные силы, рабочие силы превратились в средство для достижения цели.

А потом война – война, в которой человек и его жизнь были прямо поставлены на службу смерти. И концлагеря. Там эксплуатировалась, на последнем ее отрезке, даже та жизнь, которая оставалась приговоренным к смерти. Какое обесценивание жизни, какое

[4] Иоахим Бауэр – психиатр, психотерапевт и автор известных книг по специальности. Он многие годы занимался нейробиологическими исследованиями. Профессор Бауэр преподает и ведет практику в Берлине. www.psychotherapie-prof-bauer.de.

унижение человека, полное отрицание его достоинства! Вообразим – чтобы подобрать этому меру, – что государство ставит себе целью всех, кого оно же приговаривает к смерти, каким-то образом еще использовать, до последнего мгновения отмеренного срока заставляет служить «рабочей силой», подводя под это обоснование: так, мол, целесообразнее, чем сразу убивать или же чем кормить этих людей до конца их естественной жизни. Сколько раз в концлагере нас попрекали, что мы «не стоим своего супа» – того супа, который выдавали нам как единственную за день пищу и который нам следовало отрабатывать, под присмотром копая землю! Мы, недостойные, получали эту незаслуженную милость лишь при соблюдении определенных условий: заключенным вменялось, протягивая тарелку, обнажать голову. И поскольку наша жизнь не стоила тарелки супа, наша смерть тоже ценилась дешево, дешевле свинцовой пули, так что для нас – только «Циклон Б»[5].

Дошло и до *массовых умерщвлений* в психиатрических лечебницах. Было откровенно заявлено, что всякая жизнь, которая перестала быть «продуктивной», хотя бы в самом жалком виде, уже и «недостойна существования».

Но со временем стало насаждаться и полное отрицание смысла. Как это происходит?

Современное наше мироощущение почти не оставляет места для веры в смысл. Мы находимся в типичной послевоенной ситуации. Пусть это выражение несколько журналистски – цветисто, однако оно точнейшим образом характеризует состояние современного общества: «разбомбленные души». Это было бы еще не так страшно, если бы повсеместно не господствовало предчувствие, что мы находимся в преддверии новой войны. Изобретение атомной бомбы порождает страх перед катастрофой всемирного масштаба, и на исходе второго тысячелетия воцаряется вера в скорый конец света. Такого рода мироощущение возникает не в первый раз. Так было в начале первого тысячелетия и в его конце. В предыдущем веке его назвали настроением *fin-de-siècle*[6]. И это чувство не просто пораженческое – в его основе всегда лежит фатализм.

Но с таким фатализмом невозможно приняться за восстановление порушенного в душах. Сначала нужно его преодолеть. И тут сразу требуется важная оговорка: сегодня ни в коем случае нельзя попросту отметать с дешевым оптимизмом то, что принесли с собой последние годы. Да, мы сделались пессимистами. Мы больше не верим в прогресс, в развитие человечества, которое-де произойдет само собой. Слепая вера в автоматически происходящий прогресс подготовила почву для *сытого мещанства*. Ныне такая вера не прогрессивна, а *реакционна*, ведь мы узнали, на что способен человек. И если искать коренное отличие между прежним образом мыслей и нынешним, то оно, вероятно, яснее всего проявляется в следующем: прежде активная деятельность сочеталась с оптимизмом, в то время как сейчас предпосылкой активности становится пессимизм. Ибо ныне любое побуждение к действию проистекает из знания: нет такого прогресса, на который можно было бы с полным доверием положиться. И если мы сегодня не вправе сидеть сложа руки, так именно потому, что от каждого из нас зависит, что и как будет «прогрессировать». Ибо мы осознали, что существует лишь индивидуальный путь, а всеобщий прогресс сводится в лучшем случае к техническим достижениям, которые уже потому не могут устроить нас в качестве «прогресса», что мы и так живем в техническую эпоху. И лишь пессимизм побуждает нас действовать, лишь скептическое мировоззрение укрепляет в нас бодрствование, а старый оптимизм способен только убаюкать и погрузить в фатализм – пусть и такой, в розовых очках. Но чем такой фатализм в розовых очках – намного лучше трезвый активизм!

---

[5] Пестицид на основе цианида, использовался для массового уничтожения людей в газовых камерах концлагерей. – *Здесь и далее прим. ред.*

[6] Конец века (*фр.*) – настроения в Европе 1890–1910 гг., которые характеризовались пессимизмом, страхом перед будущим, показной усталостью от жизни, цинизмом и сочетались с поиском легких наслаждений. Также этот период в искусстве получил название декаданса, ар-нуво, «прекрасной эпохи» и др.

И насколько же неколебимой должна быть вера в осмысленность жизни, если эту веру не разрушит даже подобного рода скепсис. Как безусловно должны мы верить в смысл и ценность человеческого бытия, чтобы эта вера могла принять и вынести и такой скептицизм, и такой пессимизм. Причем как раз в эпоху, когда прежний идеализм обернулся полным разочарованием, когда прежним энтузиазмом так подло злоупотребили. Мы только и умеем, что апеллировать к идеализму или энтузиазму, но сегодняшнее поколение, нынешняя молодежь – обычно ведь именно у младшего поколения рассчитываешь обнаружить идеализм и энтузиазм – лишена образцов, которым могла бы следовать.

Слишком много произошло переломов на глазах у одного-единственного поколения, слишком много внешних катастроф и следовавших за ними внутренних крахов пришлось пережить – слишком, слишком много для одного поколения, чтобы ждать от него теперь еще какого-то идеализма или энтузиазма.

Все программы, лозунги, принципы были в результате этих лет чрезвычайно скомпрометированы. Ничто не могло устоять, так что не стоит удивляться, когда современная философия подает мир так, словно он и состоит из ничего. Но с помощью нигилизма, пройдя насквозь через пессимизм и скепсис, через трезвенность теперь уже не новой, а давно знакомой нам объективности, мы пробиваемся к новой человечности. Пусть последние годы и отрезвили нас, они также показали, что человеческое в человеке существует, они научили нас, что всё и вся сходится на человеке. Когда все отвеивается, остается «просто» человек – вовеки! Он устоял и во всем дерьме недавнего прошлого. Он устоял и в испытаниях концлагеря. (Так в Баварии некий комендант лагеря регулярно вынимал тайком деньги из собственного кармана и покупал в соседнем городке лекарства для «своих» заключенных, но в том же лагере капо[7], такой же заключенный, чудовищно издевался над товарищами по несчастью – все сводится к человеку!)

Итак, остался лишь человек, «просто» человек. За эти годы отпало все: деньги, власть, слава. Ни в чем он не мог быть уверен, даже в своей жизни, здоровье, благополучии. Все было поставлено под вопрос: честолюбие, тщеславие, связи. Все свелось к голому существованию. В пламени горя сгорело все неважное, и человек заново выплавился из того, чем в конечном счете и был: либо один из толпы, то есть никто в особенности, аноним, безымянное нечто, лагерный нумер, – либо этот огонь сплавлял человека с его самостью, «Я». Оставался ли у человека при этом выбор? Да, и пусть нас это не удивляет, ведь «бытие», «экзистенция», та простота и нагота, к которой был сведен человек, представляет собой не что иное, как возможность выбора.

И вот что могло помочь человеку сделать выбор, вот что участвовало в выборе: существование Другого, бытие Другого, то есть бытие его образа и примера. Этот образ действовал сильнее любых речей и писаных текстов, ибо всегда и всюду бытие значит больше слова. И тогда, и теперь, снова и снова приходится задавать себе вопрос: не важнее ли это – быть, нежели писать книги и читать лекции, – воплощать содержание в собственном бытии. К тому же осуществленное сильнее воздействует, слово само по себе мало чего добьется. (Однажды меня вызвали к самоубийце. Над ее кроватью висело в аккуратной рамочке изречение: «Превыше рока мужество, что неколебимо претерпевает рок». И под этим изречением женщина лишила себя жизни.)

Конечно, людей, которые могут и должны в своем бытии служить образцами, не так много. Это нашему пессимизму известно, и как раз это подстегивает современный активизм, именно этим объясняется небывалая ответственность меньшинства. Старая легенда гласит как раз об этом: само существование мира зависит от того, чтобы в любую минуту в нем обитало 36 подлинных праведников. Всего 36! Ничтожная горсть. И все же на них опирается духовное состояние всего мира. Но у легенды есть и продолжение: как только кто-то из «праведников» распознается как таковой, как только в его тайну проникают окружающие,

---

[7] Капо – привилегированный заключенный в концлагерях Третьего рейха, работавший на администрацию.

другие люди, он сразу же исчезает, его «забирают», он должен тотчас же умереть. Что же это значит? Наверное, мы не ошибемся, если изъясним это так: как только обнаруживается педагогическая наклонность образца, ему приходится умолкнуть, ведь люди не желают, чтобы их школили.

О чем все это говорит? К чему подводит это рассуждение? Вывод двоякий: все зависит от одного-единственного человека, независимо от того, сколь малочисленны его единомышленники, и все зависит от того, осуществит ли он творчески, действием, а не просто словами смысл жизни в своем собственном бытии. Негативной пропаганде последнего времени, пропаганде «бессмысленности», только и можно противопоставить пропаганду, призывающую в первую очередь быть собой, быть индивидуальностью и, во-вторых, осуществлять себя активно. Только в таком виде пропаганда станет позитивной.

Таков ответ на изначальный вопрос: возможно ли ныне стать провозвестником смысла и ценности жизни и, если возможно, на каком основании и как. Однако, раз речь зашла о смысле бытия, теперь приходится поставить под вопрос уже его. При настойчивом вопрошании уже и смысл бытия оказывается сомнительным, а сомнение в осмысленности человеческого бытия с легкостью приводит к отчаянию. Отчаяние побуждает искать выход в самоубийстве.

Что же касается самоубийства, тут нужно различать четыре существенные, меняющие суть дела причины, из которых проистекает внутренняя готовность к самоубийству. Во-первых, суицид может оказаться следствием, причем следствием не душевного, а телесного, физического состояния. К этому разряду относятся случаи, когда человек из-за вызванного физиологическими сдвигами душевного расстройства почти что вынужден к попытке самоубийства. Эти случаи, естественно, сразу же исключаются из темы сегодняшней лекции. Далее, некоторые люди принимают решение покончить с собой, рассчитывая на определенное воздействие на окружающих, то есть эти люди намереваются отомстить за какое-то причиненное им зло и стремятся осуществить желанную месть таким образом, чтобы обидчик пожизненно влачил за собой осознание вины: пусть тот знает, что виновен в гибели несчастного! Эти случаи мы тоже исключаем, поскольку нас интересует вопрос о смысле жизни. В-третьих, есть люди, чье решение покончить с собой возникает попросту от усталости, они чувствуют, что устали жить. Однако чувство усталости – именно чувство, а чувства не аргумент. Если кто-то устал, утомлен, само по себе это далеко не основание насильственно прерывать собственный путь. Более того, тут все зависит от вопроса, имеет ли смысл идти дальше, есть ли ради чего бороться с усталостью. То есть уже возникает необходимость искать ответ на вопрос о смысле бытия: зачем длить жизнь вопреки навалившейся усталости. Сама по себе усталость еще вовсе не причина отказаться от дальнейшей жизни, однако дальнейшая жизнь возможна лишь при понимании, каков ее безусловный смысл.

И здесь мы переходим к четвертой группе – это люди, которые покушаются на самоубийство, потому что не в силах поверить в смысл дальнейшей жизни, да и жизни как таковой. Суицид с такой мотивацией обычно называют рациональным или «взвешенным» самоубийством, он совершается при подведении итогов, когда «баланс жизни» оказывается отрицательным. Человек как бы сравнивает кредит и дебет, сколько жизнь ему задолжала и на что еще он может рассчитывать, и полученный негативный результат побуждает его к самоубийству. Этот результат мы и намерены перепроверить.

Обычно в левую колонку заносятся все беды и страдания, а в правую – все счастье, которое не выпало на долю человека. Однако подобный подсчет неверен в корне. Ведь, как говорится, «мы рождены не для удовольствий». Это в особенности относится к бытию и к тому, что жизнь нам «задолжала». Если кто еще сам этого не заметил, пусть заглянет в книгу российского экспериментального психолога, который доказал, что в среднем человек в повседневной жизни испытывает гораздо больше неприятных ощущений, чем приятных. Так что жить ради удовольствия заведомо невозможно. А нужно ли это вообще, стоит ли оно того? Представим себе человека, приговоренного к смерти, до казни остались считаные часы,

и ему предоставлено право самостоятельно выбрать меню последней трапезы. В камеру входит охранник и спрашивает, что он предпочтет, предлагает всевозможные лакомства, но приговоренный ото всего отказывается: ведь если телу предстоит через несколько часов превратиться в труп, не все ли равно, будет ли при этом брюхо набито вкусной едой или нет. И даже удовольствие, которое еще могли бы ощутить нейроны головного мозга, представляется бессмысленным в свете знания, что через два часа эти нервные клетки погибнут безвозвратно.

Но всякая жизнь стоит перед лицом смерти, и если приговоренный прав, то и любая жизнь лишена смысла, покуда мы стремимся лишь получать удовольствие как можно больше и как можно большее удовольствие, и ничего сверх того. Само по себе удовольствие никак не может придать смысл бытию, а значит, и недостаток удовольствий не может – в этом мы уже убедились – отнять смысл жизни.

Однажды человек, чью жизнь удалось спасти после попытки самоубийства, рассказал мне, как он собирался уехать за город, чтобы там пустить себе пулю в голову, но поскольку было уже поздно и трамвая он не дождался, то понял, что придется взять такси, и тут ему подумалось, что тратить деньги на такси – расточительство, и он невольно усмехнулся, оттого что и перед смертью озабочен подобными соображениями. Все это должно было бы показаться ему бессмысленным перед лицом смерти. Но как прекрасно выразил все это – отрезвление человека по отношению к собственным притязаниям на счастливую жизнь – Рабиндранат Тагор:

Я спал и видел сон: жизнь – радость.
Проснувшись, понял: жизнь – долг.
Трудился и увидел: долг есть радость.

Тут мы уже намечаем направление, в котором будем прокладывать путь дальнейших рассуждений.

Итак, жизнь – долг, великое и цельное обязательство. Да, радость в ней тоже присутствует, но к ней нельзя стремиться, ее невозможно достичь, просто «пожелав», она возникает сама собой и не как цель, но как последствие: счастье не должно, не может и не смеет быть целью, это результат, итог исполнения того, что в стихотворении Тагора названо долгом, и о чем мы далее попробуем поговорить подробнее. В любом случае «стремление к счастью» заведомо обречено, поскольку счастье может лишь само свалиться человеку в руки, а добыть его, преследуя, невозможно. Мудрое сравнение предложил Кьеркегор: дверь к счастью открывается наружу, то есть эта дверь лишь прочнее закрывается перед тем, кто изо всех сил тянет ее на себя.

Однажды мне довелось общаться одновременно с двумя уставшими от жизни людьми, мужчиной и женщиной, – так случайно совпало. Они оба слово в слово утверждали: жизнь для них лишена смысла, поскольку они «уже ничего не ждут от нее». В этом оба были правы, однако вскоре выяснилось, что каждого из них кто-то ждал или что-то ждало: мужчину – незаконченная научная работа, женщину – ее дитя, в ту пору находившееся недоступно далеко, за границей. Потребовался такой – «коперниканский», сказал бы я вместе с Кантом, – переворот, поворот всего образа мыслей на 180 градусов, после которого вместо вопроса: «Чего мне еще ждать от жизни?» – прозвучало: «Чего жизнь ждет от меня?», то есть: «Какое жизненное задание стоит передо мной?»

Теперь мы понимаем, насколько ошибочно в конечном счете формулируется вопрос о смысле жизни, если он задается так, как это делается в обыденности. Нет, не мы должны вопрошать о смысле жизни – это жизнь задает нам вопрос, ставит его перед нами, а мы – вопрошаемые! Мы призваны к ответу, мы должны искать ответ на постоянный, ежеминутный вопрос жизни. Жить – и значит быть вопрошаемым, все наше бытие – ответ, ответствование жизни. Стоит занять такую позицию в рассуждении, и нас уже ничто не устрашит, никакие образы будущего и даже предполагаемое отсутствие будущего. Настоящее время становится для нас абсолютно всем, потому что оно задает нам все новые

вопросы. Теперь все зависит от вопроса, чего от нас ждут. А что ждет в будущем нас – этого мы не только не можем знать, но и не должны. В этой связи я обычно рассказываю историю, которую прочитал много лет назад в короткой газетной заметке: чернокожего, приговоренного к пожизненному заключению, отправили на Чертов остров[8]. Когда судно «Левиафан» находилось вдали от земли, на нем вспыхнул пожар. В этой панике арестант сумел освободиться от оков и принял участие в спасательных работах. Ему были обязаны жизнью десять человек. Впоследствии он получил за это помилование. И вот о чем я думаю: спроси кто-нибудь этого человека в гавани Марселя, перед посадкой на тюремный корабль, видит ли он какой-то смысл в дальнейшей своей жизни, он, скорее всего, покачал бы головой. Ведь что его ждало? Но никому из нас неведомо, что его ждет, какой великий час, какая уникальная возможность совершить нечто героическое, как случилось с тем чернокожим, спасшим десять человек на «Левиафане».

Причем вопрос, который ставит перед нами жизнь и в ответе на который мы осуществляем смысл настоящего момента, меняется не только час за часом, но и от человека к человеку: в каждый момент и для каждого человека вопрос свой. Но мы видим, что вопрос о смысле жизни ставится примитивно, если он не обращен ко всей полноте конкретики, к конкретному «здесь и сейчас». Спрашивать о смысле жизни «вообще» настолько наивно, что я бы сравнил этот вопрос с вопросом, который репортер задает гроссмейстеру: «Какие ходы вы предпочитаете?» Разве существуют определенные шахматные ходы, всегда выгодные и тем более наилучшие, независимо от совершенно определенной ситуации, от конкретного положения фигур на доске?

Не менее наивен тот молодой человек, что много лет назад в ответ на приглашение поучаствовать в обсуждении смысла жизни сказал мне: «Извини, Франкл, сегодня я иду в гости к родителям будущей жены. От этого визита я никак уклониться не могу, так что на твой семинар не останусь. Будь так добр, объясни быстренько: что такое смысл жизни?»

Конкретное «требование сего часа», постоянное вопрошание, может вызывать различные формы ответа. В первую очередь нашим ответом становится какое-то действие: мы отвечаем поступком, неким осуществляемым решением или трудом, выполняемой работой. Но и тут требуется осмысление. Пожалуй, мне опять стоит прибегнуть к примеру из жизни. Однажды ко мне обратился молодой человек, бившийся над вопросом о смысле или бессмысленности жизни. И этот человек упрекнул меня: «Вам легко говорить – вы вот организовали консультацию, помогаете людям, выправляете их, а я-то – кто я и что я? – подмастерье портного! Что я должен делать, как я могу своей работой придать жизни смысл?» Этот человек забыл, что речь никогда не идет о том, какое положение ты занимаешь в жизни, какая у тебя профессия. Значимо лишь то, как ты заполняешь свое место, свой круг (и опять же, важен не радиус действия, важно лишь, чтобы круг был заполнен, чтобы жизнь «исполнилась»). Ведь в своем кругу каждый человек незаменим, необходим – каждый. Задачи, которые ставит перед человеком жизнь, может решить только он сам, и больше никто. Если человек не вполне осуществляет свою миссию в сравнительно большом круге, его жизнь исполняется в меньшей степени, чем жизнь человека, который вполне соответствует своему более узкому кругу. В своем конкретном окружении этот подмастерье портного мог бы достичь большего, своими действиями (а порой бездействием) созидать более осмысленную, исполненную жизнь, чем другой человек, вызывающий у подмастерья напрасную зависть, но не сознающий свою более существенную жизненную задачу, не соответствующий ей.

Но как обстоит дело с *безработными*, спросит меня сейчас кто-то, не учитывая, что профессиональный труд не единственное поприще, на котором человек может деятельно воплощать смысл жизни. Неужели только работа и придает жизни смысл? Достаточно задать

---

[8] Остров в Атлантическом океане у берегов Южной Америки, территория Гвианы, департамента Франции. С 1852 по 1952 г. служил каторжной тюрьмой для особо опасных преступников.

этот вопрос множеству людей, которые не без оснований жалуются на бессмысленность своего профессионального труда (зачастую чисто механического), на бесконечные колонки цифр или на однообразные движения у станка, хуже того – у *конвейера*. Жизнь их обретает личный, человеческий смысл лишь в скудные часы досуга. Но и безработный имеет шанс в избыточные часы досуга найти смысл жизни.

Мы ни в коем случае не обесцениваем финансовые трудности, финансовую нужду и в целом *социальные или экономические стороны* такого рода ситуаций. Ныне мы лучше прежнего понимаем: «сначала жратва, мораль потом». На этот счет мы не строим никаких иллюзий. Но мы знаем также, что жратва без морали оставляет человека без смысла и что такого рода бессмысленность может обернуться катастрофой для того, кто всецело сосредоточился на жратве; мы также знаем, в какой степени «мораль», то есть неколебимая вера в безусловный смысл жизни, так или иначе делает жизнь выносимой. Ведь мы видели воочию и пережили такое: человек искренне готов голодать, если видит в этом смысл.

Но мы воочию видели и как трудно дается голод при отсутствии «морали», и как немыслимо требовать от человека «мораль», когда он умирает с голоду. Однажды мне поручили провести психиатрическую экспертизу мальчишки, который от крайней нужды украл батон хлеба. Суд сформулировал вопрос буквально так: является ли этот юнец «неполноценным» или же нет. Я вынужден был сообщить, что с психиатрической точки зрения он вовсе не является «неполноценным», однако присовокупил пояснение: в подобной ситуации нужно быть не то что полноценным, а прямо сверхчеловеком, чтобы, погибая с голоду, удержаться от искушения!

Мы можем придать жизни смысл не только с помощью какой-то деятельности, осознанно отвечая на конкретные вопросы, и не только в труде выполняем требования бытия, но и как любящие: в искренней преданности прекрасному, великому, доброму. Нужно ли подробно излагать, как и почему переживание красоты способно придавать жизни смысл? Лучше ограничусь следующим мысленным экспериментом: представьте, что вы сидите в концертном зале, слушаете любимую симфонию, звучит самое заветное для вас место этой симфонии, вы так захвачены, что по спине бегут мурашки… А теперь представьте себе нечто психологически невероятное: тут вам задают вопрос, имеет ли ваша жизнь смысл. Думаю, вы согласитесь, что в такой момент возможен лишь один ответ и звучал бы он так: «Если б вся моя жизнь была ради этого мгновения – и тогда б она того стоила!»

Но нечто подобное происходит и с человеком, который восхищается не искусством, а природой; также нечто подобное переживает тот, кто увлечен другим человеком. Ведь всем знакомо это чувство, охватывающее нас при виде одного-единственного человека. Если попытаться облечь это чувство в слова, получится примерно так: само то, что на земле живет этот человек, придает смысл и этому миру, и жизни на земле.

Итак, мы придаем жизни смысл своей деятельностью и своей любовью, а еще – страданием. Ведь от того, как человек воспринимает убывание жизненных возможностей, и в сфере активного действия, и в сфере любви, от того, какую позицию он занимает по отношению к этой убыли и ограничению, как он переносит страдание, причиняемое ему этой убылью, – зависит, сможет ли он воплощать в жизнь свои ценности.

Итак, позиция, занимаемая по отношению к трудностям, показывает, что собой представляет человек, и это дает возможность наполнить жизнь смыслом. Не стоит забывать и про спортивный дух, чрезвычайно присущий человеку! Ведь что, собственно говоря, делают спортсмены? Сами себе придумывают трудности, чтобы побить собственные рекорды. А в обычной жизни это, конечно, лишнее: в повседневности страдание только тогда обретает смысл, когда вызвавшее его несчастье навлечено судьбой, то есть неотвратимо и неумолимо.

Судьба же – то, что влечет нас, – проявляется в любом случае, так или иначе. «Нет такого положения, которое невозможно было бы облагородить либо подвигом, либо терпением», – сказал Гёте. *Либо мы меняем судьбу, в той мере, в какой это удается, либо добровольно ее принимаем, в той мере, в какой это необходимо*. В обоих случаях возможен

внутренний рост благодаря судьбе, благодаря несчастью. Вот что подразумевает Гёльдерлин, говоря: «Наступая на свое несчастье, я становлюсь выше ростом».

И насколько же неверно то понимание судьбы, которое побуждает людей жаловаться на свои злосчастья и ожесточаться против рока! Что бы с нами сталось без собственной судьбы? Как иначе приобретет наше бытие форму и образ, если не под ударами молота, если не в раскаленном добела пламени страдания? Тот, кто возмущается своей судьбой, то есть тем, против чего он не может бороться, *что заведомо не может изменить*, тот в принципе не постигает смысла судьбы. Ведь судьба безусловно придает нашей жизни полноту, и ни капли рока нельзя утратить без того, чтобы не нарушить целое, сам образ нашего бытия.

Судьба так же неотделима от нашей жизни, как и страдание. И так же, как жизнь имеет смысл, имеет смысл страдание: да, страдание тоже содержит в себе возможность смысла, ведь оно тоже неизбежно. Поэтому оно заслуживает признания и уважения. Несколько лет назад нам довелось узнать, что английская скаутская организация наградила трех мальчиков за высшие заслуги, и кого же так отличили? Трех безнадежно больных детей, лежавших в больнице, – за то, что они свою тяжелую участь переносили достойно и отважно. Фактически это было публичное заявление, подтверждающее: достойное проживание страдания, своей судьбы является победой, наивысшим достижением. Итак, сформулированная Гёте альтернатива при внимательном рассмотрении оказывается не совсем верной: в конечном счете подвиг и терпение не противопоставляются – в определенных обстоятельствах терпение само становится величайшим подвигом.

Как мне представляется, природа подлинного страдания, то есть страдания как подвига, точнее всего выражена в одном восклицании Рильке: «Сколько предстоит простραдать!» В немецком языке можно сказать лишь «проделать», «проработать», но Рильке таким образом дает понять, что достижения, наполняющие жизнь смыслом, могут заключаться в страдании не в меньшей степени, чем в каком-либо труде.

И поскольку всегда есть альтернатива, таким или иным способом придать жизни, моменту, смысл, и всегда приходится выбирать единственное решение – как мы ответим, ведь каждый раз перед нами ставится конкретный жизненный вопрос, то из всего этого следует: жизнь всегда предоставляет нам возможность осуществить смысл, она всегда неразрывно с ним связана, и даже можно сказать, что бытие человека «вплоть до последнего вздоха» наполняется смыслом – покуда человек дышит, пока он хотя бы в сознании, он несет ответственность, постоянно отвечает на вопросы жизни. И это не должно нас удивлять, стоит припомнить, *что* составляет основу человеческого бытия: быть человеком означает не что иное, как сознавать и быть ответственным!

Но если жизнь всегда открывает возможность к смыслу, то всякий раз от нас напрямую зависит, будет ли в этот момент осуществлен этот потенциальный – постоянно меняющийся – смысл, а значит, воплощение смысла находится полностью в сфере нашей ответственности, нашего решения, и потому одно мы знаем точно: несомненно лишено смысла и совершенно бестолково только одно, а именно – избавиться от своей жизни. Самоубийство ни в коем случае не служит ответом на какой бы то ни было вопрос; самоубийство не в состоянии решить какую бы то ни было проблему.

Прибегнем снова к примеру с шахматной партией для иллюстрации положения человека в бытии, в которое он поставлен вопросом, задаваемым жизнью. Выше мы хотели сравнением с «предпочитаемым шахматным ходом» показать, что вопрос, задаваемый жизнью, всегда мыслится исключительно конкретно, полностью зависит от личности и ситуации, от каждого отдельно взятого человека в определенное мгновение, здесь и сейчас. И теперь мы опять используем для аналогии шахматы, чтобы показать, как безоговорочно нелепо «решение» жизненной проблемы через самоубийство.

Представим себе шахматиста, столкнувшегося с шахматной задачей, решение которой ему никак не удается найти. И что же он делает? Сбрасывает фигуры с доски. Будет ли это решением задачи? Разумеется, нет. Но точно так же поступает самоубийца: отбрасывает свою жизнь и рассчитывает таким образом избавиться от неразрешимой с виду жизненной

проблемы. Он знать не желает, что таким образом нарушает «правила игры», данные жизнью, точно так же, как наш шахматист пренебрегает правилами своей игры, согласно которым задача решается ходом коня, или рокировкой, или бог знает каким другим ходом, но именно шахматным ходом, а не вышеописанным поведением. Итак, *самоубийца нарушает правила жизни, ведь они не требуют от нас победы любой ценой, но требуют, чтобы мы ни в коем случае не отказывались от борьбы*.

Возможно, теперь кто-нибудь возразит: ладно, пусть мы и доказали, что самоубийство лишено смысла, но разве не оказывается и сама жизнь бессмысленной просто в силу предстоящей каждому человеку естественной смерти? Разве тем самым не обессмысливаются заранее все наши начинания, ибо ничему не суждено продлиться? Поищем ответа и на это возражение, причем зададим встречный вопрос, а именно: как бы оно обернулось, будь мы бессмертны? И вот что ответим на этот вопрос: будь мы бессмертны, мы могли бы всё, абсолютно всё откладывать на потом. Ведь не было бы никакой разницы, сделаем ли мы что-то прямо сейчас, или завтра, или послезавтра, через год, или через десять лет, или еще когда. Нам бы не грозила смерть, нас не подкарауливал бы конец, наши возможности ничто не ограничивало бы, и мы бы не видели необходимости совершать какое-либо действие прямо сейчас, предаваться прямо сейчас какому-то переживанию, поскольку времени в нашем распоряжении имелось бы предостаточно, бесконечные запасы времени. Лишь тот факт, что мы смертны, что жизнь наша конечна, запасы времени отмерены и возможности ограничены, и придает смысл попыткам что-то предпринять, использовать возможности, осуществлять, исполнять что-то, применить время с пользой и чем-то его наполнить. Именно знание о смерти побуждает нас к этому. Таким образом, смерть оказывается тем фоном, на котором наше бытие превращается в бытие-ответственность.

По сути, с этого ракурса становится совершенно неважной продолжительность человеческой жизни. Сама по себе большая продолжительность еще не делает жизнь осмысленной, как и краткость жизни не лишает ее заведомо смысла. Ведь и опубликованную биографию какого-либо человека мы оцениваем не по количеству страниц в книге, а исключительно по полноте содержания. В этой связи стоит ответить еще на один вопрос, а именно: не лишается ли смысла жизнь человека, не давшего потомства, самим этим фактом, что он остался бездетным. Вот что можно ответить: либо жизнь, жизнь отдельного человека, имеет смысл, и в таком случае она обладает смыслом и тогда, когда человек не оставляет потомства, то есть не полагается на такое (в скобках заметим: в высшей степени иллюзорное) биологическое продолжение и «увековечивание» себя, – либо отдельная жизнь, жизнь конкретного человека, смысла не имеет, но в таком случае она не обретет смысл лишь благодаря попытке индивида «увековечить» себя в потомстве, поскольку увековечивать лишенное смысла – занятие само по себе бессмысленное.

Из всего сказанного мы усматриваем одно: смерть и человеческие страдания – неотъемлемая часть жизни. И то и другое не обессмысливает наше бытие, а, напротив, придает ему смысл. Именно однократность нашего пребывания в мире, неповторимость нашего жизненного срока, невозвратность всего того, чем мы наполняем жизнь или же что упускаем возможность исполнить, – вот что придает нашему бытию весомость и значение. Но не только однократность каждой жизни как целого придает ей весомость, но и однократность каждого дня, каждого часа, каждого мгновения наполняет наше бытие весом столь пугающей и столь прекрасной ответственности! Час, требования которого мы не исполняем, исполняем неполно, – этот час утрачен, утрачен «во веки веков». И напротив – то, что нам удалось осуществить, используя возможности момента, навсегда пребудет сохранно в действительности, в том бытии, из которого момент лишь по видимости «устранен», «отошел в прошлое»: именно в прошлом он поистине «накоплен и сбережен». В этом смысле пребывание в прошлом – самая надежная форма бытия. Тому бытию, что мы спасли в прошлом, «бренность существования» уже не нанесет никакого ущерба.

Разумеется, наша жизнь как биологическое, телесное существование по своей природе

бренна. От нее не остается ничего, и все же – сколь много остается! От нее остается, от нас остается, нас способно пережить то, что осуществляется в нашем бытии, что действует сквозь нас – вовне, поверх нас – вдаль. Наша жизнь быстро сгорает, воплощаясь в каждом моменте, и в этом она подобна радию, чьи частицы за время жизни (у радиоактивных элементов период распада, как известно, довольно короток) постепенно превращаются в энергию излучения и никогда не возвращаются обратно в атомы. То, что мы «излучаем» в мир, «волны», исходящие от нашего бытия, – это и переживет нас, пребудет, когда само наше бытие давно уже завершится.

Можно бы предложить простой способ, скажем даже, трюк, который настоятельно представит нам ответственность бытия во всем ее величии, ту ответственность, которой в каждый миг нагружено наше бытие, перед которой мы предстоим, дрожа и все-таки ликуя. Существует такая версия категорического императива, то есть формулы «поступай так, словно» – с виду она схожа со знаменитой формулой Канта[9] и звучит примерно так: *«Живи так, словно живешь во второй раз, а в первый напортачил во всем, в чем только мог»*.

Сущностная конечность нашего бытия во времени, проявляющаяся в реальности предстоящей нам, пусть даже в отдаленном будущем, смерти, – не единственное, что придает бытию смысл. Также и конечность пребывания в присутствии другого человека не убавляет, а увеличивает смысл бытия каждого. Я имею в виду сам факт нашего несовершенства, наших внутренних ограничений, проявляющихся в различных человеческих ситуациях. Но, прежде чем взяться за доказательство этой идеи, что само наше несовершенство и придает осмысленность бытию, нужно сначала задать вопрос, справедливо ли отчаяние человека, сознающего свое несовершенство и несоответствие. Нам также стоит спросить, может ли оказаться совсем никчемным человек, направляющий свое бытие к долгу, то есть применяющий к себе самому идеальную меру. Не окажется ли, скорее, что сам факт, что он отчаивается и крайне собой недоволен, уже в определенной мере оправдывает этого человека и в какой-то степени не дает ему окончательно потерять надежду? Будь человек настолько ничтожен, что даже издали не различал бы идеал, как бы он мог судить самого себя? Не служит ли тоска по идеалу сама по себе доказательством того, что человек не вовсе отлучен от этого идеала?

А теперь перейдем к проблеме нашего несовершенства и нашей пристрастности, причем не следует забывать, что каждый человек несовершенен, однако несовершенен всяк по-своему, каждый «в своем роде». Только он, и он один несовершенен именно так, а не иначе. Значит, ту же мысль можно перефразировать позитивно: он, человек, в чем-то незаменим, необходим, уникален. Напрашивается весьма подходящая аналогия из биологического мира: в самом начале развития жизни клетки были, как известно, «мастерами на все руки». «Примитивный» одноклеточный организм умел все: и питаться, и двигаться, и размножаться, и в какой-то форме осваивать окружающий мир, и лишь в результате долгого развития к более высокоорганизованным соединениям клеток появилась специализация, так что отдельные клетки стали пригодны лишь для исполнения одной функции (принцип разделения труда в цельном организме). Так, пожертвовав изначальным «совершенством» своих способностей, клетки обрели относительную функциональную незаменимость. Например, клетка, входящая в сетчатку глаза, уже не умеет самостоятельно питаться, двигаться, размножаться, зато единственное, что она умеет – видеть, – она делает исключительно хорошо и в этой своей специфической функции становится незаменимой: на ее место нельзя поместить клетку кожи, мышц, гамету.

И как только что нам открылась осмысленная необходимость смерти, поскольку из смерти проистекает *однократность нашего бытия* и тем самым ответственность, так теперь нам открывается осмысленная необходимость человеческого несовершенства, поскольку

---

[9] «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Кант И. Основы метафизики нравственности // Собр. соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 1. – М.: Мысль, 1965. С. 260.

она – если взглянуть на нее с позитивной точки зрения – как раз и обеспечивает, и оправдывает особость *каждого, его бытие-таким*. Ведь уникальность не может быть ценностью сама по себе: уникальность каждого человека обретает ценность именно в том, что она (по аналогии с функциональным значением отдельной клетки целого организма) входит в более высокоорганизованное целое, то есть в человеческое сообщество. Простой и ясный факт, что у каждого человека имеются «уникальные» отпечатки пальцев, главным образом интересует криминалистов, помогает расследовать преступление и найти преступника, но биологическая «индивидуальность» каждого человека сама по себе не превращает его в «личность» и не делает из него существо, ценное для общества именно в своей уникальности.

Если попытаться передать однократность бытия и уникальность каждого человека, причем уникальность «для», то есть уникальность, нужную другим, направленную на человеческое сообщество, – если передать их формулой, которая бы напомнила нам и о «дивной и ужасной» ответственности человека, о «священной серьезности» жизни, то я бы обратился к знаменитому афоризму, который почти 2000 лет тому назад сделал своим девизом Гиллель, один из начинателей Талмуда. Вот как звучит этот афоризм: «Если я этого не сделаю – кто это сделает? И если я делаю только для себя – что я? И если не сейчас это сделаю – то когда?» «Если не я» – в этом вопросе заключена уникальность каждой личности; «если только для себя» – вот где бессмысленность, ничтожность такой уникальности, которая не направлена на служение, и «если не сейчас» – говорит о однократности каждой ситуации!

И если теперь собрать воедино все, что мы хотим сказать о «смысле» жизни, то можно сформулировать так: жить – значит быть спрошенным и отвечать, быть ответственным за свое бытие. И тогда выходит, что жизнь уже не то, что нам дано, а то, что нам задано – в каждый момент жизни мы стоим перед задачей. И отсюда следует также, что жизнь тем более наполняется смыслом, чем она труднее. В некоторых видах спорта, например в альпинизме, человек сам *ищет* себе задачи и даже сам себе увеличивает сложность. Как радуется альпинист, если удается обнаружить на маршруте трудный – еще более трудный путь! И тут надо заметить, что верующий человек в своем ощущении жизни, в своем «понимании бытия», отличается еще и тем, что заходит дальше, на шаг опережает даже того, кто понимает жизнь как задачу, потому что он еще и тянется к той инстанции, которая «ставит» перед ним задачу или же его ставит перед задачей, – тянется к Богу. Иными словами, верующий человек воспринимает свою жизнь, как вверенную Богом миссию.

Итак, подытоживая, что же мы можем сказать по поводу «ценности» жизни? Наши выводы, по-видимому, точнее всего можно передать словами Хеббеля[10]: «Жизнь не есть что-то; она – возможность для чего-то».

О смысле и ценности жизни. Лекция вторая

Один из выводов, к которому мы пришли в первой лекции, гласит: если жизнь имеет смысл, то и страдание имеет смысл.

К одной из разновидностей страдания мы относим болезнь. К одной из разновидностей, потому что «страдание» и «болезнь» – не одно и то же: бывает и так, что человек страдает, не будучи больным, бывает и так, что человек болен, однако не страдает. Страдание настолько свойственно человеческой природе, что в определенных обстоятельствах отсутствие его само по себе может быть симптомом болезни. Мы это наблюдаем в тех заболеваниях, которые в обиходе принято называть «духовными недугами»[11], хотя на самом

---

[10] Фридрих Кристиан Хеббель (1813–1863) – немецкий драматург.

[11] В. Франкл обыгрывает устаревший немецкий термин *Geisteskrankheiten*, дословно «болезни духа», который в современной медицинской классификации соответствует тяжелым психическим расстройствам

деле они ни в коей мере не являются болезнями духа, ведь дух не может заболеть: на духовном уровне существует лишь истинное или ложное, реальное и фиктивное, а больного там нет. Болеет – может заболеть – то, что принадлежит душевной, а не духовной сфере. При психических заболеваниях, в частности при тех, которые изначально обусловлены не душевными, а физиологическими нарушениями, а также при так называемых духовных заболеваниях (то есть психозах, противопоставляемых «душевным» неврозам) – во всех этих случаях неспособность к страданию может служить симптомом.

Человеку, заразившемуся сифилисом, с определенной (небольшой) вероятностью годы или десятилетия спустя угрожает осложнение на мозг, прогрессивный паралич. И если больной не знает, что нужно регулярно, через определенные промежутки времени проводить анализ спинномозговой жидкости, чтобы точно установить, относится ли его случай к этой небольшой группе риска, он будет опасаться внезапных психических отклонений (заметим в скобках, что и в случае, если анализ покажет угрозу, от развития осложнений спасет лекарство, применяемое при лечении малярии, и даже наступивший паралич можно вылечить, вовремя применив это средство). Страх перед прогрессивным параличом может сам по себе достигать болезненных масштабов, перерасти в самостоятельное заболевание, в невроз. Но что мы наблюдаем в случае, если человек в самом деле заболевает прогрессивным параличом, если эта пугавшая (патологически пугавшая) хворь все-таки его настигает? В этот самый момент человек избавляется от страха перед ней! Почему так происходит? Потому что в клинической картине прогрессивного паралича есть и этот симптом: заболевший погружается в эйфорию и не способен страдать – буквально не страдает вопреки реальному своему страданию.

Обычно врач с большой осторожностью обсуждает в присутствии больного и даже с самим больным вероятность столь тяжелого, пугающего расстройства, каким представляется прогрессивный паралич, но как раз в случае начавшегося прогрессивного паралича такая деликатность безосновательна: пациенту с этим диагнозом можно не стесняясь сообщить, о какой болезни идет речь. Пациент станет со смехом возражать, и, если врач в ответ укажет, что больной уже не в состоянии даже последовательно высказываться, тот все равно пребудет неколебим, а невнятность речи спишет, как чаще всего бывает в таких случаях, на плохие зубы или вставные челюсти.

Все, что огорчило бы или даже потрясло нормального человека, никак не задевает того, чья способность к страданию уничтожена подобной болезнью: его ничто не волнует, ничто не производит на него впечатления. Можно привести в пример даже процедуру приема в психиатрическую клинику. Помню, как один больной прогрессивным параличом, войдя в помещение, где проводился осмотр только что поступивших пациентов, с любезной улыбкой и явно выраженным удовольствием приветствовал врачей, заявив, что очень рад оказаться в нашем заведении. И далее, когда этого пациента готовили к пункции спинного мозга, он не проявлял ни в малейшей степени страха и приговаривал лишь: «Я знаю, зачем вы все это со мной проделываете: чтобы я не заскучал». Когда же наконец провели пункцию, в момент которой пациент не мог не ощутить болезненный укол, он хотя и ойкнул – можно сказать, рефлекторно, – но тут же присовокупил: «Нет, все в порядке».

Если упустить из виду тот факт, что именно люди с душевным, то есть с психическим, заболеванием утрачивают нормальную способность переживать и воспринимать страдание, то со специалистом может случиться то, что произошло однажды со мной. Я дежурил в приемном покое психиатрической клиники, и меня вызвали оформлять поступившую пациентку. На месте я обнаружил двух женщин, очевидно мать и дочь. Мать очень переживала, жаловалась вслух, мол, как все это ужасно, в то время как дочь всячески старалась успокоить и утешить ее, твердя, что все будет хорошо. Я должен был задать пациентке обычные вопросы и обратился к матери, которая пребывала в столь

(относящимся к «большой психиатрии»), в отличие от неврозов, стрессовых реакций и др. (сфера «малой психиатрии»).

взволнованном состоянии, а та тайком от дочери указала мне пальцем на нее – это ее привезли укладывать в больницу! Но сама пациентка вовсе не переживала, ее даже не обеспокоило помещение в психиатрическую клинику: именно в силу своего недуга она реагировала достаточно равнодушно на эту определенно незаурядную и как минимум неприятную ситуацию. То есть «ненормальная» (взволнованная, яркая эмоциональная) реакция на ненормальную ситуацию сама по себе представляется нормой поведения.

Но есть и такие психические состояния, в которых, тоже парадоксально, человек страдает именно от того, что не может страдать! Существует особая форма меланхолии, проявляющаяся, в отличие от более привычного расстройства настроения, не в грусти или тревоге, но в постоянных жалобах на то, что больной утратил способность как радоваться, так и страдать, что он вообще не ощущает никаких эмоций ни от приятных, ни от неприятных событий, на болезненное бесчувствие, душевную тупость, – такие пациенты жалуются даже на то, что не способны заплакать, и их отчаяние из-за этой неспособности страдать принадлежит к числу величайших горестей, с какими приходится сталкиваться психиатру. Выходит, в сознании человека глубоко укоренено понимание того, что страдание составляет неотъемлемую часть человеческого бытия.

И всем нам это понимание вовсе не так чуждо, как могло бы показаться на первый взгляд: в нормальном душевном состоянии человек каким-то образом тоже сознает нерасторжимую связь между жизнью и страданием. Достаточно честно, в упор, задать себе вопрос: согласились бы мы вычеркнуть из своего прошлого печальные переживания, например любовные огорчения, готовы ли мы обойтись без всего, что могли бы назвать печальным, причиняющим страдания, – и несомненно, все мы ответим отрицательно. Ведь откуда-то нам известно, что именно в эти нерадостные моменты или периоды жизни совершается внутренний рост и развитие.

Кто-либо из вас мог бы на это возразить, что я тут применил софистическую уловку, то есть демагогический фокус: мне следовало бы обратиться с подобным вопросом к человеку, пока он еще «погружен» в страдание, и тут-то и спросить, согласен ли он такое терпеть. Однако и на этот вопрос мы располагаем ответом, полученным непосредственно из живого опыта.

Чуть более года назад заключенные концлагеря стояли в рвах и рыли, копали, долбили мерзлую землю так, что искры летели. И когда надсмотрщики отходили в сторону и, ненадолго оставшись без надзора, усталые руки, сжимавшие кирки и лопаты, опускались, тут же начинались пересуды с людьми из «верхней» бригады, и эти разговоры на рабочем месте всегда были одни и те же: они всегда, повинуясь своего рода психическому автоматизму, обращались к одной-единственной теме – жратве. Заключенные обменивались рецептами, составляли меню, расспрашивали друг друга о любимых блюдах, расхваливали лакомые кусочки и воображали, какие выставят угощения, когда освободятся из лагеря и смогут приглашать друг друга в гости и наносить визиты. Однако лучшие из заключенных мечтали о дне освобождения не только затем, чтобы вновь насладиться кулинарными изысками, но по совсем иной причине: чтобы выйти наконец из этого недостойного человека положения, в котором люди не могли думать ни о чем, кроме еды, из ситуации, в которой человек не мог отвлечься от мысли: четверть десятого сейчас или уже половина, половина двенадцатого или уже без четверти полдень, и сколько еще часов предстоит провести в этих ледяных рвах на голодное брюхо, до короткого перерыва на обед или до вечера, когда заключенных строем поведут в лагерь и наконец-то выдадут на кухне миску супа. Как мы мечтали тогда о подлинно человеческом страдании, о подлинно человеческих проблемах, человеческих конфликтах – вместо этих недостойных человека тревогах о жратве и голоде, холоде, потребности во сне, о том, не изобьют ли тебя! С какой тоской вспоминали мы времена, когда на нашу долю выпадали человеческие страдания, проблемы и конфликты, а не страдания и страхи животного, но и тогда, помышляя о будущем, мы мечтали не о состоянии без страданий, проблем и конфликтов, а о будущем, в котором нам придется страдать, однако страдать лишь от тех мук, которые наполнены человеческим смыслом.

Мы уже обсудили, что наполнение смыслом возможно в трех основных сферах: человек может придать смысл своему существованию, прежде всего, какой-то деятельностью – чем-то занимаясь, что-то совершая, в творчестве и труде; во-вторых, в глубоких переживаниях – в восхищении красотой природы или искусства, в любви к другому человеку; и в-третьих, человек способен даже тогда, когда закрыты обе эти возможности, все же придать своей жизни ценность, обрести в ней смысл, а именно заняв определенную позицию по отношению к такому роковому, вынужденному, неумолимому ограничению своих возможностей. В этом случае важен взгляд человека на происходящее, его поведение, восприятие своей судьбы. С течением жизни человек должен подготовиться к тому, чтобы в соответствии с требованием «часа сего» изменить способ наполнения своего бытия смыслом, порой резко его изменить, ведь мы уже успели сказать, что смысл жизни бывает лишь конкретный, особый для каждого человека и для каждого часа в отдельности: вопросы, которые ставит перед нами жизнь, меняются от человека к человеку и от ситуации к ситуации. Я хотел бы на одном примере показать, как такая «смена курса» может быть «навязана судьбой» и в то же время «покорно осуществлена» человеком.

Речь пойдет о довольно молодом человеке, которого ждала, казалось, увлекательная и плодотворная карьера – он был востребованным художником по рекламе, но внезапная болезнь нарушила все планы: у него обнаружилась неоперабельная, высоко расположенная на позвоночнике опухоль спинного мозга. Из-за опухоли пациент вскоре практически перестал владеть руками и ногами. Та сфера, в которой он прежде главным образом находил смысл своей жизни, то есть сфера активной деятельности, оказалась для него закрыта; он вынужден был обратиться к иной сфере, ведь любые занятия становились для него все менее доступны, и все более ему приходилось искать смысл своего ограниченного, стиснутого существования в пассивном переживании, и в этой ограниченной ситуации, с чрезвычайно урезанными возможностями, все же обретать смысл. Как же поступил наш пациент? Лежа в больнице, он погрузился в интенсивное чтение, он осваивал книги, для которых прежде, в загруженной профессиональной жизни, не находил времени, он усердно слушал по радио музыку и вел увлекательные беседы с соседями по палате. Он также обратился к иной сфере бытия, где, по ту сторону активной деятельности, человек способен постичь смысл жизни, найти ответы на ее вопросы посредством пассивного восприятия мира в зеркале самости. То есть этот умный, отважный молодой человек ни в коей мере не ощущал, что его жизнь – при всех наступивших ограничениях – лишилась смысла. Но настал момент, когда болезнь так прогрессировала, что наш пациент уже не мог держать книгу в руках – настолько ослабли мышцы, и наушниками тоже не мог больше пользоваться – они стискивали череп и причиняли боль, и даже говорить ему стало трудно, и он не мог более поддерживать оживленные беседы с соседями по палате. Итак, этот человек оказался еще более ограничен: судьба отказала ему не только в возможности творческой реализации, но и в значимых впечатлениях. В таком состоянии он прожил свои последние дни, однако и их он все же сумел наполнить смыслом именно благодаря позиции, которую занял по отношению к своему положению. Наш пациент ясно сознавал, что ему остались считаные дни или даже часы. Я отчетливо помню тот вечер моего дежурства, который для этого пациента оказался последним. Я проходил мимо его койки, и он поманил меня к себе. С трудом выговаривая слова, он объяснил, что утром, при обходе главного врача, он слышал, как профессор Г. назначил ему в последние часы инъекцию морфия, чтобы облегчить предстоящую агонию. Поскольку у него имелись основания полагать, сказал он, что в ближайшую ночь с ним «будет покончено», он попросил сделать укол уже сейчас, чтобы потом ночной медсестре не пришлось меня будить…

В последние часы жизни этот человек еще заботился о том, чтобы пощадить других, «не помешать». Сверх той отваги, с какой он принимал все свое страдание и всю боль – каким поступком (не профессиональным, но человеческим!) была эта скромная просьба, эта готовность принимать во внимание другого человека буквально вплоть до конца. Вы же поймете, если я сейчас заявлю: самая замечательная реклама, пусть даже очень красивая,

превосходнейшая, какую наш пациент мог создать в пору профессиональной своей деятельности, и близко не сравнится с этим скромным человеческим поступком в последние часы жизни.

Итак, мы видим, что болезнь никоим образом не приводит к непременной утрате смысла, к обеднению бытия смыслом: она открывает возможности для все новых смыслов. А что утрата смысла не наступает с неизбежностью даже тогда, когда человек теряет часть тела, можно проиллюстрировать следующим примером: однажды в больницу, где я работал, поступил авторитетный австрийский юрист. Из-за сужения артерий началась гангрена, и пришлось провести ампутацию ноги. Оправившись от операции, пациент уже через несколько дней предпринял попытку самостоятельно передвигаться на одной ноге. С моей помощью он поднялся с кровати и неуклюже, с трудом, запрыгал по комнате, точно воробушек. И тут он расплакался, этот почтенный, знаменитый на весь мир старик, опиравшийся на мою руку, плакал тихонько, словно малое дитя. «Я не вынесу этого – жизнь калеки лишена для меня всякого смысла!» – восклицал он. Я посмотрел ему прямо в глаза и настойчиво, хотя и несколько насмешливо, спросил: «Господин президент, вы строили планы сделаться бегуном на короткие или дальние дистанции, мечтали о карьере в спорте?» Он изумленно глянул на меня. «Ведь только в таком случае, – продолжал я, – были бы понятны ваше отчаяние и эти ваши слова: тогда ваша игра действительно была бы проиграна и дальнейшая жизнь могла бы показаться вам лишенной смысла, ведь вам уже не стать ни спринтером, ни марафонцем. Но как может жизнь утратить смысл для такого человека, кто, как вы, всю жизнь прожил чрезвычайно осмысленно, многого достиг, составил себе имя в профессии, – утратить смысл только потому, что он лишился ноги?» Мой пациент сразу понял, к чему я клоню, и на его заплаканном лице проступила улыбка.

Итак, болезнь не должна приводить к утрате смысла. И более того: она может даже обернуться некой прибылью. Чтобы показать, как это возможно, я расскажу об еще одном случае, на этот раз произошедшем в концлагере.

Там я встретился с молодой женщиной, с которой и ранее был знаком. В лагере я увидел ее в ужасном состоянии, смертельно больную – и она знала, что умирает. Однако за несколько дней до смерти она сказала: «Я благодарна судьбе за то, что она привела меня сюда: в прежней, благополучной жизни у меня было много прекраснодушных амбиций, но я как-то ничего не принимала всерьез. А теперь вопреки всему я счастлива. Теперь все всерьез, и я могу, я должна пройти испытание». Она произнесла эти слова гораздо бодрее, чем все то, что я слышал от нее в прежней жизни. Так ей «повезло», посчастливилось осуществить то, чего Рильке требовал от каждого человека или желал каждому: «суметь умереть своей смертью». Иными словами – смертью придать смысл всей своей жизни, именно в смерти и осуществить смысл бытия.

Так что не приходится удивляться тому, что некоторые люди, обнаружив такую осмысленность смерти как неотъемлемой части жизни, видят в болезни и смерти не утрату и даже не приобретение, но «дар». Вот передо мной письмо – подчеркну, что автор обращался не ко мне, то есть он заведомо не мог знать, что я когда-нибудь приведу его слова в пример в своей лекции. И прежде, чем прочесть вам отрывки из письма, нужно рассказать его предысторию. У этого человека был внезапно диагностирован тяжелый, угрожающий жизни рак спинного мозга. В надежде получить лучший уход он уехал из Вены в сельскую усадьбу знакомой ему дамы. Обратились к одному из самых известных в Европе специалистов, и тот высказался против операции: по его мнению, шансов на успех было не более пяти процентов. Обо всем этом один из друзей больного известил в письме хозяйку того дома, где находился пациент. Ни о чем не подозревавшая горничная внесла письмо на подносе во время совместного завтрака хозяйки и ее гостя. Это все пациент излагает в письме и продолжает: «Таким образом… оказалось невозможным помешать мне заглянуть в письмо… в противном случае моей даме пришлось бы нарушить многолетнюю привычку и это подало бы мне повод для подозрений. Однажды некий друг настойчиво попросил меня посмотреть вместе с ним "Титаник" (первый, если не ошибаюсь, озвученный фильм). Фриц Кортнер с присущим

ему талантом играл поэта в инвалидной коляске – тот, после неудачной попытки спастись, предоставляет потоку воды подниматься и, прочитав "Отче наш", торжественно и целенаправленно ведет небольшую группу товарищей по несчастью навстречу смерти. После просмотра я вышел потрясенный и подумал: какой же это подарок судьбы – осознанно принять смерть! И это мне было дано! Мне еще представится возможность борьбы, но это борьба не ради победы, а лишь последний рывок, так сказать, последний кульбит. Пока смогу, постараюсь терпеть боль без наркотических средств… "Битва за обреченный форт" – такого понятия в нашем мировоззрении вообще не должно быть! Борьба – это и есть цель, все сводится к борьбе… После того как мы прочли письмо, в котором излагалось мнение профессора, мы играли вечером "Четвертую" Брукнера, романтическую. Все во мне наполнилось лучистой, благодатной ширью… В остальном я каждый день вожусь с математикой и вовсе не сентиментален. С любовью, твой…»

Вот, теперь уж никто из вас не попрекнет меня; мол, рассуждать просто, но покажите нам больного, который перед лицом смерти сохранит ту укорененность в смысле, которую вы считаете возможной и даже необходимой: автору письма нелегко дались эти слова, но все же он действовал и своим примером показал, что требуемое осуществимо.

Вы уже поняли, что смыслу, который потенциально обретается в болезни и умирании, не могут помешать никакие бедствия и неудачи в мире, так как он опирается на внутренние достижения, а те осуществляются вопреки жизненным трудностям. И вероятно, вы уже поняли, что все это не исключительные случаи, это применимо ко всей нашей жизни, к жизни каждого из нас. Ведь в конечном итоге вся наша жизнь тщетна, если сводить понятие успеха лишь к внешнему: нет гарантии, что какие-то достижения в этом мире, биологические или социальные, переживут нас и уж тем более что они пребудут вечно. Но внутренние свершения, внутренняя наполненность жизни смыслом, раз обретенные, остаются навсегда. И тот факт, что цель часто удается осуществить лишь под конец своего бытия, нисколько не умаляет смысл самой жизни, а, напротив, придает этому «финалу» завершенность. Примерами из повседневности трудно показать это наглядно и убедительно, здесь нам больше поможет искусство. Напомню вам, в качестве такого примера, рассказ Франца Верфеля[12] «Смерть мещанина». Верфель создает образ заурядного, мелкого буржуа, вся жизнь которого состоит из нужды и забот и, как кажется, в таких же заботах и завершится. Но тут наш герой заболевает и попадает в больницу. И Верфель показывает нам, как этот же человек героически борется с надвигающейся смертью, чтобы обеспечить свою семью: страховая премия будет выплачена лишь при условии, что он умрет после наступления Нового года. В этой борьбе со смертью, в схватке за то, чтобы дотянуть до Нового года, в битве за финансовое обеспечение семьи этот простой, заурядный человек обретает подлинное человеческое величие, какое способен передать лишь поэт. Или возьмем схожий сюжет повести «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого. В ней тоже речь идет о мещанине, который сначала отчаивается перед лицом смерти, осознав бессмысленность прежнего существования, но именно в таком отчаянии, благодаря этой рефлексии меняется сам и как бы задним числом все же придает своей ничтожной жизни смысл, именно это постижение прежней ничтожности превращает его жизнь в нечто цельное – в осмысленное.

Если таким образом мы доказали, что и жизнь больного, и жизнь на пороге смерти никоим образом не является бессмысленной, то пора задать себе вопрос, по какому же праву кто-то может утверждать, что больной или даже обреченный, «смертельно больной» человек утрачивает ценность, утверждать, что он «недостоин жизни». Нам нужно отказаться от понимания ценности как пользы, от всякой «полезности», какую могла бы иметь жизнь больного: вот, например, ваша собственная жизнь, что, если бы она пригодилась для исследования новых диагнозов или для поиска новых методов лечения? Почему мы считаем правильным заведомо отказаться от такой оценки?

---

[12] Франц Верфель (1890–1945) – австрийский поэт, романист и драматург.

По нашему мнению, на такой подход с точки зрения «пользы» имеет право разве что сам заболевший – с его точки зрения может казаться оправданным вопрос, какую «ценность» представляет его недуг для науки. Известно же, что многие люди завещают свои останки анатомам, чтобы и после смерти сослужить службу науке. Но с нашей, медицинской позиции, подобная материальная оценка человеческой ценности неприемлема. Конечно, врач должен быть объективен, и медицинская экспертиза больного по необходимости предполагает внутреннюю дистанцию. Вспомним, как проходит осмотр в условиях больницы. Перед глазами не человек, а «история болезни». Ассистент, сопровождающий врача при обходе, сообщает ему, что здесь у нас «такой-то и такой-то случай», такой-то диагноз. По сути, лечат болезнь, а не больного. Все чаще употребляется выражение «это случай такой-то болезни». Заметим выбор лексики и грамматических конструкций: «это» вместо «он» или «она»; «болезнь», а не «человек, имеющий некий диагноз», – речь идет не о болезни, которой подвержен конкретный человек, а о «случае», который «представляет» некую болезнь; да к тому же «случай» – это произвольно выбранная иллюстрация к тому или иному недугу; а еще случаю, истории болезни дается номер, и он становится цифрой в некоем ряду, именуемом также «материалом исследования». Такие обороты речи, неосознанно проникающие в медицинский жаргон, явно показывают, как широко и глубоко распространилась среди врачей тенденция к дистанцированию и к объективации человека. Хороший врач (который непременно будет и хорошим человеком) должен вновь и вновь продираться из такой «объективности» – к человечности. Чем объективнее его позиция – а это серьезная угроза для психиатра, – тем активнее он должен развивать в себе способность к человеческой позиции, и когда, к примеру, он задает себе вопрос: «Так, не случай ли это юношеской шизофрении?», тут же спросить себя: «А как бы я действовал на месте этого человека?» Это тема для отдельного разговора, но только отметим, что такой переход к человеческому, отказ от объективации, от сугубо научного подхода к позиции человека и, в частности, врача – что такая человечность врача только и способна обнаружить человеческое в больном (а это особенно важно при лечении психических заболеваний), а затем и пробудить в пациенте это человеческое (и это опять же чрезвычайно важно в сфере психиатрии).

Итак, если речь заходит о непосредственной пользе от жизни больного для человеческого общества и научного прогресса, сама постановка вопроса выдает антигуманный, антиврачебный подход, радикальную объективацию и унижение человеческого достоинства и от этого следует отказаться. Психически больной человек не сводится к болезни, он прежде всего человек – человек, у которого «имеется» болезнь. И каким человечным способен он быть даже в тяжелой болезни, причем не только в ней, но и вопреки ей, в своей позиции по отношению к недугу! Много лет назад мне довелось познакомиться с пожилой дамой, которая на протяжении ряда лет страдала тяжелым психическим заболеванием: у нее постоянно возникали слуховые галлюцинации, она слышала «голоса», критиковавшие все ее поступки и промахи, отпускавшие издевательские замечания. Мучительное положение! Но какую позицию заняла по отношению к своей беде эта женщина, как сумела примириться с ней! Ведь она со всей очевидностью достигла этого: даже описывая свое состояние, она держалась спокойно и даже с юмором, оставалась по мере возможности деятельным человеком. Я сам был этим удивлен и решился деликатно спросить, что же она думает об этой болезни и как ей удается улыбаться, не мучают ли ее эти непрекращающиеся слуховые галлюцинации? И что же она ответила: «Право, господин доктор, я думаю: все лучше так, чем быть глушнёй (то есть тугоухой)».

И она проказливо улыбнулась. Как это человечно, какое человеческое достижение, хочется даже сказать: о каком искусстве жить свидетельствует это высказывание!

А теперь спросим себя: что мы можем сказать в противоположной ситуации, когда неизлечимого больного, в особенности неизлечимого психиатрического пациента, лишь на основании его диагноза объявляют «не достойным жизни» и грозят ему уничтожением или в самом деле уничтожают? Ведь вновь и вновь раздаются голоса, что умерщвление

неизлечимых психиатрических пациентов – единственное, мол, что, «пожалуй, можно понять» в той политической и идеологической программе, которая во всем прочем безоговорочно отвергается. Вот почему мы здесь попытаемся разобрать принципы, которые (чаще всего по умолчанию) ложатся в основу подобных высказываний, и противопоставить им максимально убедительную и устойчивую аргументацию.

Поскольку в первую очередь речь идет о неизлечимых психиатрических пациентах и ставится вопрос об их уничтожении как бесполезных, «недостойных жизни», в первую же очередь нужно спросить: что означает слово «неизлечимый»? Вместо множества не вполне понятных неспециалистам и, главное, не поддающихся проверке рассуждений я предложу вам конкретный пример из моего личного опыта. В клинике находился довольно молодой человек в каталепсии: на протяжении пяти лет он не вымолвил ни слова, не ел самостоятельно – его приходилось кормить через вставленный в нос зонд, целыми днями он лежал в постели, и мышцы ног у него совершенно атрофировались. Если бы я показал этого больного студентам на традиционном разборе, один из них обязательно спросил бы: «Скажите честно, господин профессор, не лучше ли позволить такому человеку умереть?» Что ж, будущее дало на это ответ. Однажды без всякой видимой причины больной очнулся, попросил кормить его обычным способом и потребовал отменить постельный режим, чтобы он мог заново учиться ходить. И вел себя совершенно нормально, соответственно своему положению. Постепенно мышцы ног укрепились, и через несколько недель пациент был выписан как «излечившийся». Вскоре он не только вернулся к прежней профессии, но и читал лекции в одной из венских народных школ, причем рассказывал о поездках за границу и альпинистских походах, в которых прежде участвовал, привозя оттуда дивные фотографии. Однажды он выступил и перед небольшой компанией психиатров (я пригласил его рассказать нам о своем мироощущении в те непростые для него годы в больнице). В этом докладе он описал многие весьма интересные переживания той поры и не только позволил нам заглянуть в свой богатый внутренний мир, который был скрыт от всех вследствие акинезии, но и снабдил любопытными подробностями происходившего «за кулисами», о чем не слишком проницательный врач, лишь изредка видевший больного во время обходов, едва ли может подозревать. Но пациент и спустя годы помнил те или иные события, к большой досаде ухаживавшего за ним персонала, никак не ожидавшего, что подопечный однажды выздоровеет и сможет поделиться такими воспоминаниями.

Но даже если бы этот случай, по общему и единому мнению врачей, был неизлечим, кто определит, как долго он да и сама эта болезнь будут считаться безнадежными? Ведь за последние десятилетия в психиатрии удалось подобрать методы лечения для многих прежде считавшихся неисцелимыми психических расстройств и добиться если не полного выздоровления, то хотя бы улучшения. Вдруг конкретный случай болезни, оказавшийся перед нами, вполне поддается каким-то формам вмешательства или методам лечения, которые сейчас разрабатываются где-то в мире, в какой-то клинике, а мы об этом даже не знаем?

Зададим себе следующий вопрос: а если б мы были всеведущи настолько, что могли бы с абсолютной уверенностью рассуждать о неисцелимости пациента не только в данный момент, но и в длительной перспективе, то даже в таком случае кто даст врачу право убивать? Разве для этой цели человеческое общество обзаводится врачами? Разве призвание врача не в том, чтобы спасать, где возможно, помогать, где возможно, а если уже не остается надежды на исцеление, то хотя бы облегчать страдание? (Не случайно же психиатрические клиники в Австрии именуются «социально-медицинскими учреждениями», то есть гарантируют не только лечение, но и уход?) Итак, врач в силу своей профессии никак не может превращаться в судью и палача вверенных ему (или даже вверивших ему себя) страдающих людей. У него заведомо нет права, и он не смеет ни в коем случае присваивать себе такое право – выносить приговор о ценности или ничтожности жизни предположительно неизлечимого или пусть даже безусловно неизлечимого больного.

Вообразите, как далеко мы зайдем, если подобное «право» (которого, повторюсь, нет и

быть не должно) превратится в закон (к тому же неписаный). Говорю вам: с доверием пациентов и их близких к медицинскому сословию было бы навеки покончено! Ведь каждый гадал бы, станет ли для него врач помощником и целителем или же судьей и палачом.

В ответ можно было бы привести другие аргументы: возможно, вы исходите из убеждения, что мои доводы окажутся несостоятельными, если мы искренне зададим вопрос, не обязано ли государство наделить врача таким правом – уничтожать лишних и бесполезных индивидуумов. Ведь можно же допустить, что государство, отстаивающее интересы всего общества, сочтет нужным избавиться от бремени этих совершенно «никчемных» личностей, которые только отнимают хлеб у здоровых, жизнеспособных людей.

Что ж, когда речь заходит о потреблении благ – пищи, мест в больницах, труда врачей и медсестер и так далее, – подобного рода аргументы отпадают сами собой, стоит напомнить себе одну простую мысль: государство, находящееся в таких тяжелых экономических обстоятельствах, что оно видит необходимость устранить незначительный процент своих граждан, своих неизлечимо больных граждан, и таким образом сэкономить перечисленные блага, – такое государство в любом случае давно уже экономически несостоятельно!

Что же касается другой стороны проблемы, утверждения, что неизлечимые больные перестают приносить какую-либо пользу человеческому сообществу и сама забота о них становится «бесполезной», тут хочется напомнить, что «польза» ни в коем случае не может служить единственным критерием для оправдания человеческого существования. Достаточно простейшего примера: люди, страдающие деменцией или умственной отсталостью, проживающие в психиатрических заведениях, где им находят примитивную работу – толкать тележки с кирпичами или помогать при мытье посуды, – такие пациенты и то приносят куда больше пользы, чем наши старики, проводящие последние годы жизни крайне «непродуктивно». Однако предложение уничтожить наших бабушек и дедушек исключительно по причине их «непродуктивности» ужаснуло бы тех самых людей, которые отстаивают принцип уничтожения бесполезной жизни. Что продуктивного в существовании старухи, которая сидит, полупарализованная, в инвалидной коляске у окна и дремлет, – и тем не менее она окружена любовью своих детей, внуков. Да, и при такой их любви она всего лишь одна из множества старух, не более и не менее, однако любовь делает ее незаменимой, такой же необходимой, как и любой сравнительно молодой, все еще профессионально активный человек необходим и незаменим в своей направленной на общее благо деятельности!

В первой лекции этого цикла мы говорили о том, что уникальность и неповторимость придает ценность каждому человеку, что эта ценность неразрывно связана с тем обществом, «для которого» уникальность этого человека имеет определенное значение, и при этом мы все подразумевали определенные существенные для общества достижения, но теперь убеждаемся, что человек может оказаться необходимым и незаменимым другим способом, иначе достичь уникальности, и при этом его личная ценность вполне реализуется, осуществляется его личный и конкретный смысл жизни. Этот другой путь – путь любви, точнее, бытия-любимым. По сравнению с первым этот путь пассивен, без каких-либо достижений, без деяний. Благодаря любви человеку «просто так» достается то, что обычно добывается активным трудом. Поскольку человек любим, он, не имея никаких заслуг, получает то, чего иначе должен добиваться лишь путем каких-то свершений. Любовь невозможно заслужить, любовь не награда, а милость и дар. В любви человек получает «из милости», в дар, то, что в деятельной жизни ему приходится добывать с усилиями: воплощение своей уникальности и неповторимости. В том и заключается суть любви, что она показывает нам любимого именно в его уникальности и неповторимости.

Но я сталкиваюсь и с таким аргументом: да, все мной сказанное в целом верно, однако неприменимо к тем несчастным существам, которые едва ли вправе зваться людьми, в частности к детям с тяжелыми нарушениями умственного развития. Думаю, для вас это будет неожиданностью, но опытный психиатр совсем не удивится, когда я сообщу, что мы

вновь и вновь убеждаемся: именно таких детей родители окружают особой, нежнейшей любовью и заботой. Позвольте прочесть вам отрывок из письма матери, которая утратила ребенка в результате известной кампании по эвтаназии: «Из-за преждевременного сращения костей черепа еще в утробе мой ребенок родился 6 июня 1929 года неизлечимо больным. Мне тогда было 18 лет. Я обожала мое дитя и безгранично его любила, мы с мамой делали все, чтобы помочь бедному червячку, но впустую. Ребенок не мог ни ходить, ни говорить, но я была молода и не сдавалась. Я работала день и ночь, чтобы купить моей милой девочке специальное питание, а также лекарства, и когда я обвивала ее тоненькую ручку вокруг своей шеи и спрашивала: "Любишь ли ты меня, Меди?" – она крепко меня обнимала, улыбалась и сама водила ручкой по моему лицу. Тогда я была счастлива, вопреки всему – безгранично счастлива».

Но у вас еще остаются, по крайней мере с виду, неопровержимые доводы. Ведь вы можете утверждать, что врач, убивающий неизлечимого больного, на самом деле действует в приведенных примерах психических расстройств как представитель пациента, осуществляя верно понятую волю самого пациента, даже несмотря на то, что его собственная воля «помрачена»: поскольку такие больные вследствие психического расстройства не могут сами исполнить свою волю и действовать в своих подлинных интересах, врач, представляя интересы больного, не только вправе, но даже обязан совершить убийство. Такое убийство, если понять его правильно, будет всего лишь разновидностью самоубийства, каковое больной, несомненно, предпринял бы, если бы осознавал, как обстоят его дела.

То, что я хотел бы сказать вам по этому поводу, то есть в качестве опровержения такого аргумента, я вновь подкреплю примером из пережитого. Начинающим врачом я работал в соматической больнице, и однажды туда поступил молодой коллега. Поступил он с установленным диагнозом: чрезвычайно опасный, уже неоперабельный, быстро и незаметно развившийся рак. Этот диагноз он поставил себе сам – и не ошибся. Речь шла об определенной разновидности рака, врачи называют ее меланосаркомой. Она подтверждается определенным анализом мочи. Разумеется, мы постарались обмануть пациента, подменили его анализ полученным от другого пациента и предъявили отрицательный результат. Как же поступил наш больной? В полночь он прокрался в лабораторию и там проверил реакцию на новом образце своей мочи – и наутро предъявил нам положительный результат. Уличенные в обмане, мы решили, что осталось только ждать, когда наш коллега покончит с собой. Всякий раз, когда он отлучался из больницы – а мы едва ли могли ему это запретить – и по своему обыкновению шел в ближайшее кафе, мы дрожали от страха, что нам вот-вот сообщат: бедняга отравился в туалете. Но что произошло на самом деле? Чем явственнее развивалась болезнь, тем чаще пациент сомневался в установленном им самим диагнозе, и когда уже и в печени появилась вторичная опухоль, он даже определил у себя неопасное заболевание этого органа. Что же произошло? Чем меньше оставалось коллеге жить, тем крепче становилась его воля к жизни, тем меньше готов был этот человек признавать неотвратимость скорого конца. Можно рассуждать об этом так и эдак, но факт остается фактом: здесь правит воля к жизни, и это должно раз и навсегда предостеречь нас в отношении всех аналогичных случаев – мы не вправе отрицать это желание жить и отказывать в нем кому-либо из неизлечимых больных!

Более того, этот аргумент применим даже там, где пациент своими поступками доказывает врачам: он не имеет более желания жить. Я говорю о самоубийцах. И я решительно утверждаю, что и в случае истинной попытки самоубийства врач имеет даже не право, а обязанность осуществить медицинское вмешательство, то есть спасти и помочь в полной мере, насколько это в его силах. Эта проблема не теряет актуальности. Несколько лет назад я сам разработал процедуру, которая позволяет спасти пациента даже в случае тяжелого отравления снотворным, когда прежние методы оказываются бессильными. И тогда среди коллег раздавались голоса, указывавшие мне, что я не вправе возвращать к жизни человека, чье решение покончить с собой так по-человечески понятно (происходила целая эпидемия самоубийств среди большой группы людей, находившихся в ситуации

экстремальной угрозы). Говорили, что я не вправе силой вталкивать таких людей обратно в жизнь, что своими действиями я притязаю на роль Судьбы. Но я держался своего решения и ни разу не отступил от этого принципа, даже когда моя собственная ассистентка, постоянно критиковавшая мою позицию, однажды и сама была доставлена в больницу после покушения на самоубийство. Да, и в ее случае я пошел на принцип и применил свой метод – вполне успешно, хотя и не дождался за это благодарности. Но тем, кто критиковал процедуру с позиций морали (с медицинской точки зрения ее было невозможно критиковать), я бы возразил так: я вовсе не притязаю на роль Судьбы, а вот *тот* врач, который предоставляет самоубийцу его участи, кто полагается «на волю Судьбы» и сложа руки остается в стороне, когда еще мог бы вмешаться и помочь, – вот кто притязает на роль Судьбы. Ведь если бы «Судьбе» угодно было, чтобы самоубийца погиб, так уж «Судьба» изыскала бы способ и средства помешать умирающему вовремя попасть в руки врача. Но раз «Судьба» подыграла врачу, тот обязан действовать профессионально, а не сдаваться на ее «милость».

Я надеюсь, что, последовательно обсудив все мыслимые аргументы в пользу эвтаназии, я сумел вам доказать неотменимость смысла бытия, убедить вас, что наша вера в смысл жизни может и должна быть непоколебима. Если первым делом мы обнаруживаем смысл в жизни, то впоследствии выясняется, что и страдание обладает смыслом, причастно ему. И далее становится ясным, что и умирание может иметь смысл, что естественная, «своя» смерть тоже бывает исполнена смысла. И наконец, даже болезнь, в том числе неизлечимая, в том числе психическое расстройство, не дает никому права на убийство, не позволяет определять жизнь человека как «не имеющую ценности». Тем самым мы по крайней мере подступились с разных сторон к вопросу о смысле жизни. И, наскоро подводя итоги, напомним основной вывод: мы установили, что сама наша жизнь представляет собой ответствование на вопрос, а потому невозможно задаваться вопросом о ее смысле, ибо смысл всякий раз состоит в том, чтобы дать ответ. Но ответы, сказали мы также, ответы, которые мы должны давать на конкретные вопросы жизни, не могут выражаться только в словах и даже только в поступках, это нечто большее – наша жизнь, все наше бытие! На вопросы жизни можно ответить лишь в той мере, в какой мы отвечаем «каждый в своей жизни».

Под конец надо напомнить, что изначальный вопрос о смысле жизни может иметь и другое применение, может быть задан иначе, а именно – обращен ко всему миру, в особенности к тому, что происходит с нами, обо что мы претыкаемся, ненамеренно и неизбежно, – я говорю о судьбе. Ведь судьбой мы управлять не в силах, мы называем судьбой именно то, на что не имеем никакого влияния, что по сути своей ускользает от нашей воли. Мы видели, что смысл нашей жизни в немалой мере определяется тем, какую позицию мы занимаем по отношению к внешней судьбе в тех случаях, когда уже не можем изменить ситуацию или когда она изначально незыблема. Но нужно сделать еще один шаг и задать вопрос: а может быть, сама эта судьба в чистом и подлинном смысле и, сверх того, все, происходящее во внешнем мире, – тоже имеет смысл?

То есть тут нам представляются два магистральных пути рассуждения, и оба они недоказуемы и неопровержимы. Ведь можно с равной убедительностью утверждать, что в конечном счете все совершенно бессмысленно – и точно так же утверждать, что все не только в высшей степени осмысленно, но и тем более осмысленно, что мы не можем охватить смысл целого, Смысл Всего, что мы можем лишь говорить о некоем «Сверхсмысле этого мира». С тем же успехом можно твердить о полной бессмысленности мира. С тем же успехом, то есть с равным логическим основанием или же безосновательностью. По сути своей мы стоим перед выбором, который уже не является логическим решением. Логика высказывается как в пользу одного утверждения, так и в пользу противоположного, с логической точки зрения оба рассуждения вполне потенциально допустимы. С логической точки зрения это беспочвенные рассуждения, ни на чем не основанные, точнее, их основа – Ничто. Принимая это допущение, мы взмываем над бездной Ничто – и одновременно предстаем перед горизонтом Сверхсмысла! Это решение человек способен принять не по логической формуле, но из глубины своего бытия, выбрать либо то, либо другое. Нам

известно лишь одно: если человек выберет веру в предельный смысл, в Высший Смысл бытия, эта вера, как любая вера, будет осуществляться творчески. Ибо она не сводится к вере в «свою» правду – это нечто намного, намного большее. Вера делает истиной то, во что она верит. Можно даже сказать, что выбор определенного способа мыслить – это еще и его осуществление.

Experimentum crucis[13]

В Баварии, примерно в 50 километрах к западу от Мюнхена, расположен небольшой город Ландсберг. Оттуда ведет дорога на юг, к находящейся в пяти километрах старинной ярмарке Кауферинг. В начале прошлого года, утром, в ранних сумерках по этой дороге плелись 280 мужчин. Они шли колонной по пять человек в ряд, под конвоем эсэсовцев: то была группа заключенных из концлагеря в Кауферинге. Направлялись они в соседний лес, где им предстояло отстраивать огромный замаскированный завод, производивший вооружение. Истощенные оборванцы шли по дороге – да нет, не шли, тащились, ползли, поддерживая друг друга, опираясь друг на друга: опухшие с голоду ноги едва могли нести даже исхудавшие до 40 килограммов тела, стопы болели, они превратились в сплошную рану от застарелых мозолей и обморожений. А что происходило в умах этих людей? Они думали о супе, который будут раздавать вечером в лагере, по возвращении с работ, и задавались вопросом, повезет ли им нынче вечером отыскать в жидком вареве одинокий кусочек картошки. Думали они и о том, в какую команду их распределят через четверть часа, когда они прибудут к месту работы: окажутся ли они под началом внушавшего ужас конвоира или другого, более-менее снисходительного. То есть мысли их вращались вокруг повседневных забот заключенного.

И тут одному из них подобные мысли показались какими-то глуповатыми. Он попытался переключиться на другие мысли, на «достойные человека» заботы. Ему это не удавалось, и тогда он прибег к хитрости: он попробовал отстраниться от нынешней мучительной ситуации, подняться над ней, созерцать ее, как говорится, сверху или с точки зрения грядущего, как бы в свете будущего теоретического наблюдения. И что он сделал? Он представил себе, что стоит на кафедре Венского народного университета и читает лекцию, причем как раз о том, что он переживал в тот момент. Называлось это выступление «Психология концентрационного лагеря».

Если бы вы внимательно присмотрелись к человеку из той группы узников, вы бы заметили, что на его куртке и штанах нашиты небольшие заплаты с номером 119104. И если бы вы заглянули в лагерные списки Дахау, вы бы нашли под этим номером имя: Виктор Франкл.

Ту лекцию, что этот человек читал тогда в своем воображении, я сейчас впервые прочту вам в настоящем зале Венского народного университета. Я повторю ее наизусть! Тогда она начиналась словами: «Что касается психологии концентрационного лагеря, мы можем выделить несколько фаз реагирования заключенных на лагерную жизнь». Первая фаза начинается, когда человек попадает в лагерь. Ее можно обозначить как первичный шок. Представьте себе: заключенный прибывает, например, в Аушвиц. Если он принадлежит к большинству (в моем транспорте таких людей оказалось около 95 процентов), его путь ведет прямиком с вокзала в газовую камеру, но если прибывший относится, как по воле случая и я, к меньшинству в пять процентов, сначала его направляют в камеру дезинфекции – да, в настоящую душевую. Прежде чем узник войдет в то помещение, где ему предстоит мыться, у него отнимут все, что он имеет при себе, разрешат оставить из личных вещей лишь подтяжки

---

[13] Ключевой эксперимент, решающий опыт, дословно «опыт креста» *(лат.)*. Постановка такого эксперимента считается необходимой для принятия новой гипотезы в состав общепризнанного корпуса научных знаний.

или пояс, очки или бандаж. Ни одного волоса не останется на его теле, обреют всего налысо. И когда этот человек наконец встанет под душ, он почувствует, что от его прежней жизни не сохранилось ничего, за исключением, в буквальном смысле, «нагого» существования. И происходит то, собственно, с чем узник вступает в первую фазу переживания опыта концлагеря: он подводит итог под всем своим прежним бытием.

Неудивительно, что тут же возникает вопрос, каким образом удобнее всего покончить с собой. На самом деле, каждый в подобной ситуации заигрывает, хотя бы на миг, с мыслью «броситься на проволоку», то есть совершить самоубийство привычным в лагере способом, ухватившись за установленную по периметру колючую проволоку под высоким напряжением. Но вскоре узник отказывается от этого варианта попросту потому, что это представляется совершенно излишним: покушаться на самоубийство нелепо в ситуации, когда вероятность не попасть в газовую камеру – чуть раньше или чуть позже – и без того крайне мала. Зачем бросаться на проволоку, если все равно вскоре угодишь в душегубку? Человек перестает думать о «проволоке», поскольку начинает бояться «газа», однако с какой же стати бояться «газа», если уже пожелал себе «проволоку»…

Рассказывая об этом, я всегда стараюсь описать такое свое переживание: в первое утро нашего пребывания в Аушвице к нашей группе новичков, размещенной в отдельном бараке, прокрался коллега, попавший в лагерь несколькими неделями раньше. Он хотел утешить нас и предостеречь. Прежде всего он постарался убедить нас в том, как важно следить за своим внешним видом, во что бы то ни стало выглядеть как работоспособный человек. Достаточно захромать от какой-нибудь неважной причины, например из-за неподходящей обуви, и эсэсовец, заметив, как ты ковыляешь, может сразу же отозвать тебя и прямиком отправить в душегубку. Здесь оставляют в живых до поры лишь тех, кто способен работать. Все остальные считаются недостойными жизни, недостойными дальнейшего существования! Из тех же соображений коллега советовал нам ежедневно бриться, поскольку стоит поскрести лицо какой-то импровизированной бритвой, например осколком стекла, и оно станет более «розовым», свежим, здоровым на вид. И напоследок, проверив всех нас, производим ли мы требуемое впечатление здоровья и пригодности к труду, этот человек успокоительным тоном заметил: «Как я сейчас на вас посмотрю, вам пока нет причин опасаться душегубки – пожалуй, за одним исключением – возможно, кроме тебя, Франкл, ты уж не обижайся, право! Ты тут единственный, кто, судя по всему, первым делом подпадет под селекцию». (Селекцией в лагере называли отбор тех, кто в ближайшей партии отправится в газовую камеру.) Нет, я нисколько не обиделся на коллегу, скорее почувствовал удовлетворение при мысли, что, коли так, то я, с большой вероятностью, буду избавлен хотя бы от совершения самоубийства.

И такое равнодушие к собственной судьбе заходит все дальше. Уже через несколько дней пребывания в лагере все чувства узника притупляются. Все меньше тревожат его события, происходящие с ним и вокруг. Если первые дни с точки зрения внешнего наблюдателя были омерзительны – во всех смыслах – и могли вызывать лишь возмущение, отвращение, ужас, то затем эти чувства унимаются и душевная жизнь в целом сводится к минимуму. Все стремления и помышления сосредоточиваются на том, чтобы пережить нынешний день. И наконец, вся духовная жизнь заслоняется этим единственным интересом. По отношению ко всему прочему душа облачается в панцирь, от которого отскакивают те впечатления, что в ином случае вызывали бы потрясение и гнев. Так душа выстраивает защиту и пытается уберечься от мощного потока всего, что на нее обрушивается, стремится сохранить равновесие – спастись в равнодушии. Но тем самым узник уже совершает шаг к следующей фазе душевной реакции на лагерную жизнь, к той фазе, которую можно обозначить как фазу апатии.

Но когда все интересы сводятся к самосохранению, к сохранению своей жизни и жизни немногочисленных друзей, то внутренний уровень человека стремительно падает – вплоть до почти животного. А если присмотреться, можно уточнить: до стадного животного. Чтобы судить об этом, нужно понаблюдать за поведением узников, когда они строятся в колонну и

каждый старается попасть в ее середину и особенно в середину ряда из пяти человек, подальше от пинков конвоира. Каждый стремится ни в коем случае не попадаться на глаза, не быть заметным, раствориться в толпе. И неудивительно, что такое растворение в толпе приводило также к растворению, утрате личности. В лагере человеку грозило превращение в стадное животное. И в среднем он становился столь же примитивным, как такое животное. Все его стремления упрощались, низводились до уровня инстинктов. Вот почему бывшие там же в концлагере вместе со мной коллеги-психоаналитики рассуждали в привычных им терминах регрессии: «регрессия» означает возвращение психики к примитивным стадиям инстинктивных влечений.

Собственно, из наблюдений над типичными мечтами заключенных можно сделать вывод, каким примитивным желаниям они предаются в глубине души. Ведь о чем, как правило, мечтал человек в концлагере? Все о том же, опять и снова: о хлебе, сигаретах, хорошем зерновом кофе и, не в последнюю очередь, о славной теплой ванне (а я, снова и снова, об одном и том же пирожном).

И все же такие односторонне-психоаналитические оценки в основе своей были неверны. Ибо нельзя утверждать, будто опыт концлагеря с роковой необходимостью загоняет человека в регрессию, то есть вынуждает к внутреннему отступлению. Я знаю много случаев (будь это даже единичные примеры, все равно они могут служить убедительным доказательством), когда оказавшиеся в такой ситуации люди ни в коей мере не регрессировали, не спускались к нижним ступеням развития, а, напротив, в них совершался внутренний рост, они шли к истинному человеческому величию – именно в концлагере, именно через проживание опыта концлагеря.

Другие специалисты, не психоаналитики, описывали происходившее с душой человека в концлагере иначе. Знаменитый исследователь характера профессор Утиц, который и сам провел несколько лет в лагере, считал, что ему довелось наблюдать, как характеры заключенных чаще всего развивались по тому душевному типу, который Кречмер[14] называл «шизоидным». Этот тип, как известно, проявляется в том, что человек в основном колеблется между аффективными состояниями апатии, с одной стороны, и раздражительности – с другой, в то время как еще один распространенный в обычном обществе тип, «циклотимический», – то «на седьмом небе от счастья», то «смертельно удручен», то есть тоже колеблется между радостным возбуждением и горестным сниканием. Здесь неуместно предаваться профессиональному разбору данных психопатологических классификаций, я ограничусь лишь самым необходимым, а именно заявлю, что на том же «материале наблюдения», что и Утиц, я сделал иной вывод: человек в концентрационном лагере вовсе не вынужден, под внешним давлением, превращаться в «типичного лагерника» с его (мнимой) шизоидностью, напротив, человек обладает свободой, человеческой свободой, занять ту или иную позицию по отношению к своей судьбе, к окружающему миру, – и это «так или иначе» всегда существовало! В лагере встречались, например, люди, сумевшие преодолеть апатию и подавить в себе раздражение, и чрезвычайно важно апеллировать именно к этой способности, показывать, что «можно и иначе», а не только «так приходится». Внутренняя сила, подлинная человеческая свобода – ее невозможно отобрать у заключенного, даже если отнять все остальное. И действительно, у него все отнимали, но свобода оставалась у человека – даже когда очки, которые ему позволили носить, разбивались ударом в лицо, и когда приходилось обменять пояс на кусок хлеба, так что не оставалось ничего из прежнего имущества: свобода оставалась у него, оставалась до последнего вздоха!

И сколько бы ни воздействовали на узника концлагеря закономерности психического развития, он все равно обладал свободой: мог вырваться из-под власти и влияния окружающего мира и не поддаться этим «закономерностям», но противостоять им,

---

[14] Эрнст Кречмер (1888–1964) – немецкий психиатр, создатель типологии характеров (шизоидный, циклотимический и иксотимический), которая основывалась, в частности, на строении тела (астеническое, пикническое, атлетическое).

ускользать от них, не повиноваться им слепо. Иными словами, такой свободой обладал даже узник, если только не подчинялся, не отказывался ею воспользоваться – не отрекался добровольно! Ведь в таком случае он сам сдавал себя, свою самость, свою уникальность. Он позволял себе пасть духом.

Но зададим вопрос: в какой момент происходит этот переход к типическому, в какой момент человек позволяет себе пасть духом? И ответ прозвучит так: когда человек теряет духовную опору, когда он утрачивает внутренний стержень! Эта опора обретается двумя способами: либо ее находят в будущем, либо в вечности. Последнее свойственно всем истинно верующим людям: им не приходится цепляться за планы и мечты, за будущую жизнь там, вовне, на свободе, за грядущее освобождение – эти люди могут оставаться покойны независимо от того, надеются ли они на благоприятный поворот в своей судьбе, чают ли дожить до такого времени, выжить в концлагере. Но другим приходилось искать опору в предстоящем, в осмысленности своего будущего существования. Думать о будущем было сложно, поскольку мысль не находила ни точки опоры, ни конечного пункта – не видно было ни конца ни края. Мы могли бы позавидовать злостному рецидивисту, который точно знал, что придется отсидеть десять лет: он мог отсчитывать, сколько дней еще предстоит вычеркнуть до момента, когда его выпустят на волю, – счастливец! А мы в лагере не имели срока и не могли его знать, никто из нас не мог предугадать, когда же все это закончится. По общему мнению моих товарищей, это было, пожалуй, наиболее мучительным обстоятельством нашей лагерной жизни. И постоянно возникавшие слухи о скором завершении войны лишь усиливали муки ожидания. Вновь и вновь приходилось отодвигать предполагаемый срок, и кто еще мог верить подобным вестям? На протяжении трех лет я только и слышал: «Через полтора месяца война закончится. Самое большее через полтора месяца мы вернемся домой». И с каждым разом все горше и глубже разочарование, все мучительнее несбывшиеся ожидания. И как говорится в Библии? «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце»[15].

Да, сердцу делается больно – настолько, что у кого-то оно даже перестает биться. Вы поймете это, услышав следующий пример, который я вам собираюсь поведать. В начале марта прошлого года рассказал мне мой тогдашний староста барака – оперный либреттист и сочинитель танго из Будапешта – необычный сон. «В середине февраля мне приснилось, – сказал он, – будто некий голос заговорил со мной и предложил загадать желание, что-то у него спросить, что мне требуется знать, он, мол, может мне ответить, может прорицать будущее. И я спросил: "Когда для меня закончится война?" Понимаешь? Для меня. И когда нас освободят приближающиеся американские войска». – «И что же ответил тебе голос?» Он склонился надо мной и загадочно шепнул мне в самое ухо: «Тридцатого марта!» В середине марта я угодил с сыпным тифом в изолятор. Первого апреля меня оттуда выпустили, и я вернулся в свой барак. «Где наш староста?» – спросил я. И что же я узнал! Под конец марта, когда вплотную приблизился назначенный тем голосом во сне срок, а положение на фронте ему, по-видимому, еще не соответствовало, наш староста начал все более впадать в уныние. Двадцать девятого марта у него поднялась температура. Тридцатого марта, в день, когда война должна была закончиться «для него», он лишился сознания. Тридцать первого марта он скончался – умер от сыпного тифа.

Как видите, когда человек позволяет себе пасть духом из-за отсутствия внутренней опоры, в особенности из-за отсутствия опоры в будущем, происходит также и телесный упадок. И пора задать вопрос, существует ли терапия, излечивающая такой духовно-душевно-физический разлад, можно ли что-то предпринять против него – и что именно? На этот вопрос я могу ответить лишь: конечно, терапия существует, но очевидно, что она вынуждена ограничиться лечением душевного недуга, то есть здесь возможна только психотерапия. И в рамках такой психотерапии в первую очередь требуется отыскать

[15] Книга Притчей Соломоновых, 13:12 (Синодальный перевод).

духовную опору, придать жизни наполненность, смысл. Обратимся к словам Ницше: «У кого есть Зачем жить, тот выдержит почти любое Как». «Зачем» – это и есть смысл жизни, а «Как» – те обстоятельства, которые делали жизнь в лагере такой тяжелой, однако с оглядкой на «Зачем», «Ради Чего», их все же удавалось перенести. Итак, если по сути в лагере не имелось ничего, кроме психотерапии, что помогло бы человеку продержаться, то эту психотерапию следовало выстроить определенным образом, а именно: она должна была убеждать человека, от которого требовалось проявить волю к жизни, что в выживании есть смысл. При этом задача психотерапевта, которая в лагере чаще всего превращалась в задачу медицинского душепопечения, осложнялась тем, что находившиеся там люди в целом, в среднем, не могли особо рассчитывать выжить! Что же следовало им сказать? Но как раз этим людям и надо было что-то сказать. Вот почему я называю эту ситуацию – *experimentum crucis*, ключевым экспериментом для любого вида медицинского душепопечения.

В предыдущей лекции я уже сказал, что не только жизнь как таковая имеет смысл, но и сопутствующее ей страдание, причем этот смысл в такой степени непреложен, что он может быть исполнен даже там, где страдание внешне вроде бы не ведет ни к какому достижению, где с виду страдание напрасно. Таким было страдание, с которым мы столкнулись в концлагере. Но что же я должен был сказать тем людям, которые лежали рядом со мной в бараке и которые довольно точно представляли себе, как скоро и какая их ждет смерть. Они знали так же ясно, как и я, что никакая жизнь их не ждет, никакая работа, ни один человек – вспомните тот двойной пример, который я привел в первой лекции, – или же если ждет, то будет ждать напрасно… Значит, следовало выявить наряду со смыслом жизни, выживания, также и смысл страдания, бесцельного страдания и более того – также и смысл умирания! Умирания, которое могло бы стать намного более осмысленным в духе того выражения Рильке, о котором мы говорили в прошлый раз: по словам Рильке, следует умирать «своей» смертью. Нам оставалось умереть своей смертью, а не той смертью, которую навязывали нам эсэсовцы! По отношению к этой задаче мы несли ответственность точно так же, как по отношению к задаче жизни. Ответственность – перед кем же, перед какой инстанцией? Но кто может ответить на этот вопрос за другого человека? Разве каждый не решает этот последний вопрос сам для себя? Не все ли равно, считал ли себя один пребывающий в бараке ответственным в этом смысле перед собственной совестью, а другой – перед своим Богом, а третий – перед человеком, который сейчас далеко? Главное, каждый из них знал, что где-то, когда-то, кто-то незримый его видит и ждет от него, чтобы он был «достоин своего страдания», как выразился однажды Достоевский, и надеется, что он «умрет своей смертью». Это ожидание ощущал каждый из нас там, в близости общей смерти, и ощущал его тем сильнее, чем меньше верил, что сам еще вправе чего-то ждать от жизни, что кто-то или что-то еще могут ждать его – что можно надеяться на собственное выживание и спасение.

Многие из вас, не имеющие личного опыта заключения в концлагере, с удивлением спросят, как человек вообще способен выдержать все то, что я описал. Но знаете, тот, кто все это перенес и остался в живых, сам удивляется этому еще больше, чем вы. И не упускайте из виду: человеческая душа в некотором смысле подобна высокому своду: такой свод можно возвести, и он будет держаться лишь за счет правильной нагрузки. Так и душа человека, по крайней мере до определенной степени и в определенных границах, укрепляется, сталкиваясь с «нагрузкой». Так и происходит, и только так можно понять, почему слабые люди выходили порой из лагеря в лучшем состоянии души, так сказать, окрепнув по сравнению с тем, какими они туда вошли. Но также надо понимать, что внезапное освобождение, выход из лагеря, внезапное избавление узника от тяжкого давления, под которым он пребывал долгое время, в свою очередь представляет опасность для его души. Я провожу в этом случае сравнение с так называемой кессонной болезнью. Ныряльщика, работающего под водой, под высоким давлением, ни в коем случае нельзя резко выдергивать на поверхность – его вытягивают постепенно, иначе у него развивается тяжелое физическое заболевание.

Мы дошли уже до обсуждения третьей и последней фазы в психологии

концентрационного лагеря. Речь идет о психологии освобожденного узника. Главное, что нужно сказать по этому поводу, вероятно, удивит вас еще больше, чем все, что вы слышали прежде, а именно: пройдет немало дней, прежде чем освобожденный узник окажется в состоянии радоваться своей свободе. Он должен буквально с нуля, заново учиться радости. И при этом ему нужно поспешно осваивать это искусство, поскольку ему вскоре придется переучиваться и заново учиться страдать. На этот счет я ограничусь немногими словами.

Представьте себе, как освобожденный узник концлагеря возвращается, приходит домой. Скорее всего, там и сям его встретят с определенной заминкой, как бы пожимая плечами. И главное, он будет постоянно слышать эти две фразы, эти высказывания: «Мы ничего не знали» и «Мы тоже немало страдали». Присмотримся для начала ко второму высказыванию и зададим себе прежде всего вопрос, возможно ли вообще измерять и взвешивать человеческое страдание таким образом, чтобы страдание одного человека удалось сравнить со страданием другого. И вот что я хочу сказать по этому поводу: человеческое страдание не поддается измерению! Подлинное страдание заполняет человека целиком и полностью, целиком его опустошает. Однажды я говорил с другом о своих переживаниях в концлагере – а сам он не побывал в лагере, он «всего лишь сражался под Сталинградом». Этому человеку стало, как он выразился, «как-то неловко» передо мной. В этом он был не прав. Да, конечно, имеется существенная разница между тем, что человек испытывает в сражении, и тем, что происходит с человеком в лагере: в битве человеку противостоит Небытие, Ничто, он смотрит в лицо угрожающей смерти – а в лагере мы сами были Ничто, мы заживо сделались мертвецами. Мы ничего не значили, мы не просто видели небытие – мы перешли в небытие. Ничего не стоила наша жизнь, и смерть наша тоже ничего не стоила. И никакой ореол, даже ложный, не окружал нашу смерть: всего лишь растворение малого небытия в великом Ничто. Никто бы и не заметил эту смерть, мы ее уже заранее «прожили».

А что бы произошло, если бы я действительно умер в лагере? На следующее утро при построении в какой-то пятерке кто-нибудь, с виду бесстрастно, стоя в обычной позе – втягивая голову от мороза в поднятый воротник, высоко задрав плечи, – шепнул бы соседу: «Франкл вчера умер». И самое большее, что ответил бы ему сосед: «Хм».

И тем не менее: никакое страдание не подлежит измерению и сравнению, поскольку по самой своей природе страдание, человеческое страдание, страдание *конкретного* человека устроено так, что его «масштабы» определяются только самим человеком. Оно столь же уникально и неповторимо, как каждый уникальный человек. Уникален человек, уникально и его страдание.

Так что заведомо бессмысленно говорить о какой-то классификации страдания, о различиях между его видами, но есть действительное и существенное различие между страданием бессмысленным и осмысленным. Однако – думаю, вы это уже усвоили из предыдущих лекций – такое отличие опять же целиком определяется самим человеком: от человека, и только от него самого зависит, будет ли его страдание иметь смысл. А как обстоит дело со страданием тех людей, которые, как мы слышим, так усердно уверяют, что они, мол, «*тоже* страдали» и, дескать, «ни о чем не знали». Видите ли, как раз утверждение, будто человек ни о чем не знал, кажется мне безусловным критерием для того, чтобы отнести страдание к разряду бессмысленных. Почему? Потому что оно возникает из этически неверного истолкования ситуации. И о таком неверном истолковании я сейчас намерен повести речь – не потому, что мне кажется правильным включить в обсуждение современную политику, но потому, что я считаю необходимым дополнить «метафизику повседневности», о которой мы говорили до сих пор, «этикой повседневности».

Мы прежде задавались вопросом: «*Почему* оказалось возможным это незнание?», и пришли к выводу о неверном истолковании проблемы. Но если мы зададимся вопросом: «*Зачем* существует это незнание?», то, вероятно, обнаружим, что речь идет о нежелании знать. А в основе нежелания – бегство от ответственности. Однако человек здесь и сегодня бежит от ответственности. В бегство его обращает страх принять коллективную вину. Ведь

его огульно объявят виновным как соучастника дел, в которых он лично не участвовал, о которых зачастую действительно «ничего не знал». Должен ли порядочный человек быть призван к ответу за то, что сотворили другие, пусть даже они являются гражданами той же самой страны? Разве этот порядочный гражданин не был, скорее, и сам жертвой чужих преступлений, объектом террора, который осуществлялся правящими, господствующими слоями его народа, и ничего не мог противопоставить этому террору – разве он сам подлинно от него не страдал? Не будет ли постулирование коллективной вины регрессом к тому самому мировоззрению, с которым мы как раз намерены бороться? К мировоззрению, объявляющему виновным конкретного человека лишь потому, что другие представители группы, к которой он принадлежит по воле случая, совершили какие-то действительные или мнимые преступления? Не кажется ли нам ныне – наконец-то! – нелепой сама идея притягивать кого-то к ответственности лишь в силу его национальности, родного языка или места рождения? Это столь же нелепо, как ставить человеку в вину его большой или малый рост. Если какое-то преступление совершил человек ростом 164 сантиметра, что ж, и меня заодно повесить, если мой рост совпадает с его?

Но здесь требуется провести принципиальную границу: необходимо различать коллективную вину и коллективную ответственность. Приведу вам пример, точнее аналогию, и сразу же станет ясно, что я имею в виду. Вообразим, что у меня случился приступ аппендицита. Моя ли в том вина? Разумеется, нет, и все же, что будет, если понадобится операция? В таком случае я окажусь *должен* врачу, который проведет операцию. То есть у меня появится ответственность за то, чтобы оплатить счет от больницы. Значит, существуют и долг, и «ответственность без вины». Примерно так же обстоит дело с коллективом людей, которые как коллектив были освобождены от террористического режима. Они не могли освободить себя сами – пришлось вмешаться другим коллективам, свободно живущим народам, им пришлось пожертвовать лучшими своими людьми, молодыми людьми, чтобы освободить народ, беспомощно подчинявшийся своему руководству, от этого самого руководства. Эта беспомощность сама по себе не вина, но разве не уместно, не справедливо требование – заплатить за такое освобождение той или иной жертвой со своей стороны, ощущать свою со-ответственность, даже если конкретный человек не со-виновен и сознает свою невиновность?

Чтобы вполне понять заключительную часть этой психологии, проследуйте вместе со мной в прошлый год, в момент после освобождения концлагеря в Тюркхайме, в тот весенний вечер, когда я под закатным солнцем брел одиноко в располагавшийся неподалеку от лагеря лесок. Там по совершенно нелегальному распоряжению коменданта нашего лагеря – того эсэсовца, которого я упоминал в первой лекции, того, кто из собственного кошелька оплачивал лекарства для «своих» заключенных, – закопали умерших в лагере товарищей и вопреки полученным указаниям не предали забвению, но на тонких юных елях за массовыми захоронениями кто-то ободрал кору и свинцовым карандашом аккуратно нацарапал их имена. Если бы вы тогда оказались там, то поклялись бы вместе со мной позаботиться о том, чтобы отныне в нашу жизнь, спасшихся, вплавилась наша общая вина – да, общая вина *нас всех*! Ибо мы, выжившие, знали безусловно, что лучшие из нас оттуда не вышли – *лучшие* именно те, кто не вернулся! И мы не можем считать свое спасение ничем иным, кроме как незаслуженной милостью. Задним числом заслужить эту милость, хоть наполовину стать ее достойными – вот что мы должны умершим товарищам. И выплатить этот долг представлялось возможным, лишь пробуждая, расшевеливая совесть – и других людей, и свою.

То, что ждало узника после выживания, то, что ждало его после освобождения, когда он возвращался домой, увы, часто побуждало забыть эту клятву. Но случались в его жизни моменты – и это моменты определяющие, – когда он вспоминал, в чем он себе поклялся: каждый кусочек хлеба, возможность лечь спать в свою кровать, и то, что ему не придется утром вставать на построение, и жить в постоянном страхе перед смертью – благословлять все это. Все для него стало относительным по сравнению с тем опытом – все, в том числе и

несчастье. Он, который, как мы уже говорили, был низведен буквально в Ничто, чувствует себя столь же буквально возродившимся – но не тем, кем был, а более самим собой. Уже в первой лекции я говорил о том, как все внеличное «расплавляется». И от прежнего честолюбия мало что осталось, если что и уцелело, то, пожалуй, жажда свершений, высшая форма честолюбия, стремление *осуществиться*, то есть опять-таки обрести более сущностную форму.

Как видите, мы добрались до конца нашей темы и до границ этого разговора. Далее нам уже не пригодятся речи, не понадобятся лекции, далее остается одно – действовать, причем действовать в повседневности.

Вся эта речь и была о повседневности, да, я бы даже употребил выражение «метафизика повседневности». Надеюсь, вы правильно поймете это слово: мало того что нужно сделать повседневность – лишь с виду серую, банальную, такую… обыденную – прозрачной, чтобы через нее просвечивало вечное, но и в итоге необходимо разглядеть, как вечное влияет на временное – на повседневное – как на точку ежесекундной встречи конечного и бесконечного. То, что мы совершаем во времени, переживаем, страдаем, – то мы совершаем, переживаем и страдаем навеки. И в той мере, в какой мы несем ответственность за происходящее, когда происходящее становится «прошлым», наша ответственность невероятно обременяется пониманием, что ничто из произошедшего уже не может быть «устранено» из этого мира. И наша ответственность также призывает к тому, чтобы несбывшееся все же воплотить в мир! Воплотить в рамках наших дел, нашей повседневности. Так повседневность приравнивается к действительности, действительность – к возможности воплощать. И так метафизика повседневности уводит нас за пределы повседневности, а затем – осознанно, в осознании ответственности! – возвращает в повседневность.

На этом пути нас ведет вперед и помогает нам, сопровождает и направляет – радостное приятие ответственности. Откуда у обычного человека радостное приятие ответственности, готовность ее принять?

Ответственность – то, чем человек бывает «облечен», или же то, что он с себя «снимает». Мудрость языка указывает, что в человеке присутствует и противоборствующая сила, препятствующая принятию ответственности. И действительно, есть в ответственности нечто неизъяснимое. Чем дольше и глубже всматриваемся мы в это понятие, тем полнее его осознание, и наконец нас охватывает нечто вроде трепета: углубляясь в суть человеческой ответственности, мы распознаем в ней и нечто пугающее – и нечто ободряющее.

Пугает осознание, что я всегда, в каждое мгновение несу ответственность за следующий миг. Что каждое решение, самое малое, как и самое большое, становится решением «во веки веков», что в каждое мгновение я осуществляю или упускаю некую возможность, возможность этого момента. Причем каждый момент приносит тысячи возможностей, но я могу выбрать лишь одну, чтобы ее осуществить. А все прочие я тем самым обрекаю, осуждаю на небытие – и тоже «во веки веков».

Но ободряет осознание, что будущее, мое личное будущее и с ним вместе будущее окружающих меня людей и вещей, каким-то образом – пусть и в малой мере – зависит от моего решения в каждый миг. То, что я в этот миг осуществлю, «воплощу в мире», как мы говорим, – то я спасу, укреплю в действительности и сохраню непреходящим.

Но зачастую люди опасаются брать на себя ответственность. Вот почему требуется воспитание в ответственности. Да, бремя ее нелегко, да, тяжело не только распознавать свою ответственность, но и признавать ее. Говорить «Да!» своей ответственности – и своей жизни. Но человеку дано сказать вопреки всем трудностям – «Да!». И когда заключенные концлагеря Бухенвальд в муках пели: «И все-таки сказать жизни "Да!"», они не только пели эти слова, они их исполняли, они и многие из нас, заключенные других лагерей. Они осуществляли это в немыслимых обстоятельствах, о каких мы ныне достаточно уже говорили. Так неужели мы не сможем осуществить то же самое сегодня, в несравненно более благоприятных обстоятельствах? Сказать жизни «Да!» при любых обстоятельствах не просто

осмысленно – поскольку жизнь и сама осмысленна, – но и при любых обстоятельствах есть эта возможность: сказать жизни «Да!».

В этом и заключалась суть трех лекций: показать вам, что человек вопреки всему – вопреки беде и смерти (лекция первая), вопреки физическому страданию или психической болезни (лекция вторая) и даже вопреки судьбе заключенного концлагеря (лекция третья) – может сказать жизни «Да!».

Послесловие Франца Веселы

В Вене война закончилась 13 апреля 1945 года. Две недели спустя настал день освобождения для заключенного концлагеря Виктора Франкла, и лишь в августе он смог наконец вернуться в Вену, где его ожидало ужасное известие[16]. В полном трагизма письме, обращенном к родным и друзьям вскоре после возращения, Франкл изливает свое отчаяние и свидетельствует о том, как борется с самим собой и ищет источник сил, чтобы жить дальше[17].

Франкл с головой погрузился в работу – редкий случай, когда это выражение можно применить буквально. Он возглавил неврологическое отделение Венской поликлиники; за считаные месяцы подготовил две книги; в Народном университете Оттакринга, с которым Франкл сотрудничал уже в 30-е годы, он прочел осенью 1945 года цикл лекций под названием «Человек с больной душой»; во множестве газетных статей и в публичных дискуссиях он высказывал свою позицию по актуальным вопросам политики, общественной жизни и культуры. Публицистический задор Франкла соответствовал желаниям общества, которое после многолетней войны и духовного крушения нацистского режима изголодалось интеллектуально и культурно. В эту пору утраты ориентиров и смыслов Франкл сделался востребованным участником открытых дискуссий как перед широкой аудиторией, так и в профессиональных медицинских и философских кругах. Его главной темой были вина и ответственность – они же были главной темой того времени, – а также страх перед жизнью, этика повседневности и постоянная необходимость разобраться с негуманной идеологией недавнего прошлого.

Но прежде всего Франкл вернулся к занятиям психотерапией как в форме индивидуальных консультаций, так и на коллективном уровне. В расписании курсов Народного университета Оттакринга на летнее полугодие 1946 года обнаруживается следующий пункт:

> Д-р Виктор Франкл. Вопросы настоящего времени и повседневности в перспективе изучения душевных заболеваний. 5 лекций (Самоубийство – Принудительная эвтаназия – Мир психиатрического пациента – Сексуальное просвещение – Концлагерь). Суббота, 17–18 часов, с 23 марта.

В день начала курса была опубликована статья Франкла о «Вене и искусстве исцеления души». Статья завершается словами:

> Но в Вене и теперь еще, как прежде (а хочется верить, теперь более, чем прежде), жив дух психотерапии, так что можно ожидать, что Вена – колыбель искусства исцеления души – станет также и местом возрождения психотерапии, которая осознает свою социальную задачу в пору внешней и внутренней потребности в помощи – свою ответственность перед миром, нуждающимся не

[16] Только по возвращении в Вену Виктор Франкл узнает, что его жена, брат и мать погибли в лагерях.

[17] Viktor Frankl, Gesammelte Werke, Band 1: *«…trotzdem Ja zum Leben sagen» und ausgewählte Briefe (1945–1949)*. Hrsg. A. Batthyany, K. H. Biller, E. Fizzotti. Böhlau, Wien 2005.

только в материальном, но и в духовном восстановлении[18].

На основе лекций, прочитанных в Народном университете, Франкл составил книгу «…И все-таки сказать жизни "Да!": Три лекции»[19], которая ныне предлагается читателю под другим заголовком. Тексты лекций о самоубийстве и о принудительной эвтаназии называются здесь «О смысле и ценности жизни I» и «О смысле и ценности жизни II», соответственно, а глава, посвященная лагерному опыту, озаглавлена «Experimentum crucis».

В этих коротких текстах сошлось самое важное из тогдашнего опыта и размышлений автора. Прежде всего обращает на себя внимание безусловное «"Да!" жизни» – это выражение впервые прозвучало в ту же пору в письме Франкла друзьям. В сентябре 1945 года он писал супругам Вильгельму и Штефе Бёрнер:

> Я невыразимо устал, невыразимо печален, невыразимо одинок… В лагере кажется, что ты уже достиг дна, а потом, когда возвращаешься домой, приходится убедиться, что все это было зря: все, что помогало продержаться, уничтожено, и в тот момент, когда снова становишься человеком, погружаешься еще глубже в совсем уж бездонное страдание. И тогда, вероятно, не остается ничего, кроме как чуточку поплакать и чуточку полистать псалмы.
>
> Возможно, вы усмехнетесь этим словам или даже рассердитесь на меня, но при этом я ничуть не противоречу самому себе, я не отступаю от давнего моего «Да» жизни, когда переживаю нынешний момент так, как здесь описываю. Напротив: если б не это прочное, как скала, позитивное отношение к жизни – что бы сталось со мной за недели, за месяцы концлагеря? Но теперь я вижу все в более широкой перспективе. Я все отчетливее вижу, что жизнь столь бесконечно полна смысла, что и в страдании, и в крахе тоже должен быть смысл[20].

Столь же высоко ценил он и жизнь другого человека. Еще в 1928 году, студентом медицинского факультета, Франкл принял существенное участие в психологических консультациях для молодежи, открывавшихся в первую очередь для предотвращения самоубийств. Одним из способов превенции стали личные свидетельства, и с помощью этой инициированной Франклом «акции свидетельствования» удалось добиться, чтобы за лето 1931 года ни один студент не оборвал свою жизнь. Уже тогда Франкл подчеркивал ключевую роль смысла жизни в связи с профилактическими мерами против самоубийств:

> …Сколь бы различны ни были душевные основания для самоубийства, духовный фон – всегда недостаток веры в смысл жизни. Самоубийце недостает не мужества жить, но смирения перед жизнью. Лишь когда на смену новой объективности придет новая этика, когда вновь будет признана ценность каждой человеческой жизни как неповторимой и уникальной, тогда лишь люди обретут необходимую духовную опору для преодоления душевных кризисов[21].

Итак, Франкл вновь возвращается к вере в смысл жизни, теперь и в присутствии страдания, которое нерасторжимо с человеческой жизнью. О смысле страдания заходит речь уже в публикации 1938 года, когда Франкл впервые обозначает три категории ценности,

---

[18] *Wiener Kurier*, 23 марта 1946.

[19] Franz Deuticke, Wien 1946.

[20] Там же, с. 184.

[21] Arbeitersonntag, 14. 4. 1934; in: Gabriele Vesely-Frankl (Hrsg.): *Viktor E. Frankl – Frühe Schriften. Maudrich,* Wien 2005.

то есть ценности созидания, переживания и позиции[22]. И этой последней – мужественному, образцовому приятию неотменимого страдания – он приписывает самый высокий ранг. То же говорится и в первой лекции:

> Либо мы меняем судьбу в той мере, в какой это удается, либо добровольно ее принимаем в той мере, в какой это необходимо.

В ту пору подобные рассуждения вовсе не были «академической забавой», это была насущная помощь, чтобы жить и выживать. Кто не подвергся тяжелейшим физическим и душевным ударам судьбы в пору великой катастрофы? И сам Франкл – разве он не утратил все, что было ему дорого?

Но он нашел путь обратно в жизнь – и этот путь, вопреки всему произошедшему, все же оставался полон возможных смыслов, которые следовало осуществить. Своими лекциями и книгами Франкл направлял и других людей, ободрял их, помогая искать собственный путь из несчастья недавних лет и в весьма мрачных послевоенных условиях.

Название третьей лекции, «Experimentum crucis», указывает, что Франкл вовсе не в лагере изобрел свои идеи о смысле жизни как духовном ресурсе, как иногда предполагается. Его книга «Доктор и душа» (Ärztliche Seelsorge)[23], в которой сформулирована теория ориентации к смыслу, была готова (в виде рукописи) уже в 1941 году. И он взял рукопись с собой при депортации, все еще надеясь когда-нибудь ее опубликовать. Но, как пишет Франкл в воспоминаниях, ему пришлось выбросить пальто вместе с зашитыми в него страницами[24].

Однако в лагере он воочию наблюдал, как даже в этой пограничной ситуации, когда человека полностью лишали достоинства, оставалось действительным все то, что Франкл наблюдал прежде в работе психиатра и консультанта молодежи и что он систематически описывал. А именно, оказалось, что у тех заключенных, кто еще сохранял какой-то смысл жизни или хотя бы питал надежду его обрести, находились и силы жить, и в итоге выжить. Не в последнюю очередь примером этого может служить и сам Франкл: его поддерживала надежда увидеть в живых хотя бы некоторых из близких и наконец завершить и опубликовать книгу.

Эти наблюдения, анализ и вместе с тем ободряющий призыв Франкл представил широкой аудитории летом 1946 года. Его лекции отличаются риторическим напором, научной остротой и правотой человека, проверившего собственную теорию на себе – на физическом и душевном уровне. В том же году он опубликовал в виде книги наиболее важные и общезначимые из этих лекций. Многочисленные подробные обсуждения и отзывы на эту небольшую книгу в газетах, в научных и популярных журналах, на радио[25] подтвердили, что он попал в самый нерв своего времени.

Профессор Франц Веселы[26],

---

[22] V. E. Frankl: Zur geistigen Problematik der Psychotherapie. *Zentralblatt für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete*, 10 [1938], S. 33–45.

[23] Франкл В. Доктор и душа. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016.

[24] Viktor Frankl: *Dem Leben Antwort geben. Autobiografie*. Beltz, Weinheim und Basel 2017.

[25] В течение 10 лет появилось более 30 рецензий в самых разных газетах и журналах Австрии, например в *Wiener Zeitung, Die Österreicherin, Österreichische Ärztezeitung.*

[26] Профессор Франц Веселы преподает физику. После смерти Виктора Франкла, приходившегося ему

Вена, лето 2019 года

Примечания
О Викторе Франкле

Виктор Франкл занимал должность профессора неврологии и психиатрии Венского университета и на протяжении 25 лет руководил Венской неврологической поликлиникой. Основанный им метод логотерапии / экзистенциального анализа считается «третьей школой венской психотерапии». В качестве приглашенного профессора он преподавал в Гарварде, Стэнфорде, Далласе и Питсбурге, был избран почетным профессором логотерапии американского Международного университета в Сан-Диего (Калифорния).

Франкл родился в 1905 году в Вене. В Венском университете он защитил диссертацию по медицине, затем получил степень доктора философии. Во время Второй мировой войны провел три года в Аушвице, Дахау и других концлагерях. На протяжении четырех десятилетий после войны Франкл неутомимо путешествовал с лекциями и выступлениями по всему миру. В совокупности ему присвоено 29 почетных докторских степеней университетов Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Он отмечен и другими почетными наградами, в том числе премией Оскара Пфистера Американской психиатрической ассоциации, и стал почетным членом Австрийской академии наук. Тридцать девять книг Франкла вышли на 50 языках. Английский перевод «…И все-таки сказать жизни "Да!"» распространился миллионным тиражом и вошел в американский список «Десяти самых влиятельных книг».

Виктор Франкл умер в 1997 году в Вене.

Библиография

Полный список всех работ Виктора Франкла и подробную библиографию по теме логотерапии / экзистенциального анализа можно найти на сайте www.viktorfrankl.org

Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse. Deuticke Zsolnay, Wien / dtv, München 2005–2007 / 2011 (dtv); ISBN 3–552–06001–4

…trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Kösel-Verlag, München 9. Aufl. 2005; ISBN 3–466–10019–4 / Taschenbuch: Penguin 2018; ISBN 978–3–328–10277–9

Bergerlebnis und Sinnerfahrung. Tyrolia, Innsbruck – Wien 2013 (7. Aufl.); ISBN 978–3–7022–3297–9

Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute. Herder / Kreuz, Freiburg i. Br. 2015; ISBN 978–3–451–61337–1

Dem Leben Antwort geben. Autobiografie. (Was nicht in meinen Büchern steht. Lebenserinnerungen) Beltz, Weinheim 2017; ISBN 978–3–407–86460–4

Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie. Hans Huber, Bern / Serie Piper 1975–2005(3. Aufl.); ISBN 3–456–84214–7

Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk. Serie Piper 289, München 1979–2019(30. Aufl.); ISBN 9783–492–20289–3

Der unbewusste Gott. Psychotherapie und Religion. Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv 35058), München 1992–2018(15. Aufl.); ISBN 3–466–20302–3

Der Wille zum Sinn. Ausgewählte Vorträge über Logotherapie. Hogrefe, Bern 2016 (7. Aufl.);

тестем, он представляет его авторские права. Как глава архива Виктора Франкла он руководит работой с обширным наследием. Он основатель и член правления научного общества «Институт Виктора Франкла».

ISBN 978–3–456–85601–8

Die Psychotherapie in der Praxis. Eine kasuistische Einführung für Ärzte. Serie Piper 475, München 1986–2002; ISBN 978–3–492–20475–9 / 978–3–492–20475–0

Es kommt der Tag, da bist du frei. Unveröffentlichte Texte und Reden. Kösel-Verlag, München 2015; ISBN 978–3–466–37138–9

Gesammelte Werke 1: …trotzdem Ja zum Leben sagen / Ausgewählte Briefe 1945–1949. Böhlau, Wien 2005; ISBN 3–205–77351–9

Gesammelte Werke 2: Psychologie des Konzentrationslagers / Synchronisation in Birkenwald / Ausgewählte Texte 1945–1993. Böhlau, Wien 2006; ISBN 3–205–77390-X

Gesammelte Werke 3: Die Psychotherapie in der Praxis / Und ausgewählte Texte über angewandte Psychotherapie. Böhlau, Wien2008; ISBN 3–205–77664-X/978–3–205–77664–2

Gesammelte Werke 4: Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse. Böhlau, Wien 2011; ISBN 978–3–205–78619–1

Gesammelte Werke 5: Psychotherapie, Psychiatrie und Religion. Böhlau, Wien 2018; ISBN 978–3–205–20574–6

Gottsuche und Sinnfrage. Gütersloh 2005–2014 (5. Aufl.); ISBN 978–3–579–05428–5

Psychotherapie für den Alltag. Rundfunkvorträge über Seelenheilkunde. (Psychotherapie für jedermann.) Kreuz Verlag, Freiburg i. Br. 2015; ISBN 978–3–451–61373–9

Theorie und Therapie der Neurosen. Einführung in Logotherapie und Existenzanalyse. Uni-Taschenbücher 457, Ernst Reinhardt, München/Basel 1967–2007 (9. Aufl.); ISBN 978–3–497–01924–3

Wer ein Warum zu leben hat. Lebenssinn und Resilienz (Logotherapie und Existenzanalyse). Beltz, Weinheim 2019; ISBN 978–3–407–86492–5

Франкл В. Базовые концепты логотерапии. – Харьков: Гуманитарный центр, 2022.

Франкл В. Быть человеком – значит найти смысл: 100 главных слов. – М.: Никея, 2018.

Франкл В. Воля к смыслу. – М.: Эксмо-Пресс, 2000.

Франкл В. Воля к смыслу: Основы и применение логотерапии. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.

Франкл В. Воля к смыслу. – М.: Альпина нон-фикшн, 2020.

Франкл В. Воспоминания. – М.: Альпина нон-фикшн, 2020.

Франкл В. Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017.

Франкл В. Логотерапия. – М.: Московский институт психоанализа, 2016.

Франкл В. Логотерапия и экзистенциальный анализ: Статьи и лекции. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016.

Франкл В. Основы логотерапии: Психотерапия и религия. – СПб.: Речь, 2000.

Франкл В. Психолог в концлагере: С верой в жизнь. – М.: Алгоритм, 2021.

Франкл В. Психотерапия и экзистенциализм: Авторский сборник. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2015.

Франкл В. Психотерапия на практике. – СПб.: Речь, 2000.

Франкл В. Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.

Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. – Нск: Сибирское университетское изд-во, 2009.

Франкл В. Теория и терапия неврозов. – СПб.: Речь, 2000.

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.

Институт Виктора Франкла

Руководитель: профессор Александр Баттиани

Институт Виктора Франкла (VFI) – научное общество, основанное в 1992 году в Вене группой коллег и друзей из разных стран под председательством Виктора Франкла. Задача института – сохранение наследия Виктора Франкла и продвижение логотерапии и экзистенциального анализа как направления психиатрических, психологических и философских исследований и как практической формы психотерапии, а также обеспечение высокого уровня преподавания логотерапии и экзистенциального анализа при подготовке психотерапевтов и консультантов. Венский Институт Виктора Франкла стал центром аккредитации в области классической логотерапии и экзистенциального анализа по Франклу.

Список более 150 аккредитованных институтов и национальных ассоциаций, предлагающих образование в области логотерапии и экзистенциального анализа, представлен на сайте VFI.

Институт располагает эксклюзивными правами на личный архив Виктора Франкла и владеет крупнейшим в мире собранием текстов и исследовательских работ по логотерапии и экзистенциальному анализу.

В сотрудничестве с магистратом Вены в 1999 году был основан Венский фонд Виктора Франкла. В соответствии с программными целями этот фонд каждый год распределяет премии и стипендии за существенные достижения, поощряя исследовательские проекты в сфере ориентированной на смысл гуманистической психотерапии. Кроме того, фонд ежегодно назначает почетную премию выдающимся личностям в знак признания их деятельности на протяжении всей жизни. Лауреатами этой премии стали Хайнц фон Фёрстер, Пауль Вацлавик, кардинал Франц Кёниг, дама Сисли Сондерс, епископ Эрвин Кройтлер, кардинал Оскар Андрес Родригес Марадиага, Эрик Ричард Кандел.

Институт ведет первую в мире аккредитованную на государственном уровне докторантуру по логотерапии при кафедре философии и психологии имени Виктора Франкла в Международной академии философии (Университет Княжества Лихтенштейн). В сотрудничестве с основанной в 2012 году в Москве Высшей школой логотерапии при Московском институте психоанализа институт предлагает базовый и продвинутый курсы логотерапии.

С деятельностью Института логотерапии в мире можно ознакомиться на сайте VFI, где помимо отчетов о логотерапевтических исследованиях и практике размещена также исчерпывающая библиография – как базовая литература по логотерапии, так и рекомендуемая для дополнительного чтения.

www.viktorfrankl.org

Благодарности

Составители благодарят профессора Франца Веселы, руководителя архива Виктора Франкла, за активное сотрудничество при подготовке текстов Виктора Франкла, а также за послесловие. Сердечное спасибо также профессору Иоахиму Бауэру за предисловие.